

В. Порудоминский
«ЖИЗНЬ,
ТЫ С ЦЕЛЬЮ
МНЕ ДАНА!»





О тех, кто первым ступил на неизведанные земли,
О мужественных людях — революционерах,
Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше.
О тех, кто проторил пути в науке и искусстве,
Кто с детства был настойчивым в стремленьях
И беззаветно к цели шел своей.

ПИРОГОВ

Выпуск 71

В. Порудоминский

«ЖИЗНЬ,
ТЫ С ЦЕЛЬЮ
МНЕ ДАНА!»

ОЧЕРК



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1981

Порудоминский В. И.
П60 «Жизнь, ты с целью мне дана!»: Пирогов.
Очерк. — М.: Мол. гвардия, 1981. — 208 с., ил. —
(Пионер — значит первый; вып. 71)

40 коп. 100 000 экз.

Эта книга о великом русском ученом-медики Н. И. Пирого-
ве. Тысячи новых операций, внедрение наркоза, гипсовой
повязки, совершенных медицинских инструментов, составле-
ние точнейших атласов, без которых не может обойтись
ни один хирург... — трудно найти новое, первое в медицине,
к чему бы так или иначе не был причастен Н. И. Пирогов.

П $\frac{70803-231}{078(02)-81}$ 053—81. 4803010102

ББК 54.5
617.01



«Какой-то внутренний голос подсказал тут хирургию»

Пироговы в Сыромятниках

Из метрической книги церкви святой Троицы, что в Сыромятниках: «1810. Ноябрь. 13 числа. У коллежского секретаря Ивана Иванова Пирогова родился сын Николай...»

Накануне день стоял ясный, теплый, на безоблачном небе сиянье солнца, деревья и кустарники радовали глаз густым золотым листом. В ночь, однако, неожиданно сорвался холодный, резкий ветер, свирепо зашумел в листве; посыпал косой, колючий снег. Утром тринадцатого улицы были белы, тусклое небо, низко опустилось над кровлями домов, над черными сквозными садами и палисадниками, лишь кое-где цеплялся за ветку заскорузлый, потемневший листок.

В приходе Троицкой церкви домов было пятьдесят.

Прежде жили в слободе царские шорники, работали для дворцовых конюшен ремennую упряжь из мягкой,

недубленой — сыромятной — кожи, но как государев двор переехал из Москвы в новую столицу, город Санкт-Петербург, заселились Сыромятники разных званий и ремесел людьми.

В изогнувшемся подковой Кривоярославском переулке поставил дом пивовар Иван Мокеевич Пирогов, высокий, крепко сбитый старик в рыжем, до пояса, едва не петровских времен парике, молодым Ивана Мокеевича не помнили. Появляясь в церкви, старик непременно, будто шапку, стягивал с головы свой парик и обнажал сверкающую лысину, чем, по мнению священника, вводил в соблазн молящихся; священник, отец Алексей, усовещал его, но старый упрямец не уступал.

Говорили, будто разменял Иван Мокеевич вторую сотню лет, годов его никто не считал, сам он давно сбился со счета, однако иные происшествия, относящиеся до царствования государя Петра Великого, помнил хорошо. Всю зиму старик сидел в четырех стенах, кряхтел и жаловался, что не топтать ему больше зеленой травы; некоторые из соседей и впрямь начинали сомневаться, жив ли Иван Мокеевич-то, но, глядишь, снова солнышко пригревало по-весеннему, выбивалась из-под земли первая нежная зелень, и он в белых валенках поначалу вылезал на крыльцо, бродил по двору, а там важно шествовал в церковь, сияя медного отлива локонами своего парика.

От этого Ивана Мокеевича и от супруги его, о которой только известно, что на старости лет повредилась в уме и сделалась сердита и драчлива, пошли в Сыромятниках Пироговы: одни — в малом числе — смуглые, длиннолицые и густоволосые, другие — большинство — с лицом круглым, широким носом, глазами голубыми или серыми, со светлыми редкими волосами (мужчины смолodu делались плешивы).

Про Николая, едва родился, говорили, что весь в папеньку, Ивана Ивановича: скуластенок, глазки прозрачны, волосы светло-русые, жиденькие.



Иван Иванович Пирогов пива не варил — служил казначеем в провиантском депо: здесь хранились на складах запасы муки, круп и иного хлебного харча для войска; деньги через казначеевы руки текли немалые. Иван Иванович счетоводство знал в тонкостях, брался также вести частные дела и существовал безбедно. С годами дослужился до майорского чина, надевал мундир с золотыми петлицами на высоком жестком вороте, белые брюки, ботфорты со шпорами; золотые звездочки шпор слегка поворачивались и важно звякали в лад шагам. Завел собственный выезд, запрягали, конечно, не по-барски, четверней, — скромной парой, но лошади были подобраны хорошие, одной масти.

Иван Иванович Пирогов имел четырнадцать человек детей, большинство умерло в младенчестве; из шестерых оставшихся в живых Николай был самый юный.

Про звезду

Откуда-то из далекого, далекого детства осталась в нем первым воспоминанием огромная ослепительная звезда, повисшая прямо над головой...

Ему года не минуло, когда явилась на небе, с каждым днем приближаясь и ярчая, невиданная звезда — комета, огненно-круглая, с длинным взметнувшимся кверху снопом хвоста, сулящая великие бедствия, перемены и, может быть, конец света. Передавали слухи, и в «Ведомостях» писали, будто горят во множестве города, села, леса, толковали о наводнениях, трясении земли, дивных явлениях небесных, вроде пламенных шаров, катящихся по воздушному пространству. Вычитывали в старинных книгах, что перед нашествием татар солнце и луна изменяли вид свой, чудесные знамения предвещали народ о грядущем. Все сходились на том, что быть великой войне; впрочем, для такого пророчества не требовалось знамений: все ждали нападения Бонапарто-

ва, в народе говорили, что россияне своей земли не выдадут, будущую войну стали именовать «отечественной» до того, как она началась.

Той самой осенью, когда Николай Пирогов явился на свет, Наполеон Бонапарт окончательно свыкся с мыслью, что ключ к мировому владычеству ждет его в Москве, и приказал доставить ему всевозможные книги о России — ее прошлом и настоящем, ее географии, статистике, быте, правителях и народе.

Глядя на звезду, повисшую над Москвой и едва не полнеба рассекающую сияющим хвостом, наисмелейшие из прорицателей обещали, что армия неприятельская с превеликой быстротой нахлынет на Россию, но обратное ее движение будет еще быстрее...

«Что это такое было?.. — на закате дней размышлял Пирогов об этой навсегда запавшей в память звезде. — Следствие слышанных в ребячестве длинных рассказов о комете 1812 года или оставшееся в мозгу впечатление действительно виденной мной в то время, двухлетним ребенком, кометы?..»

Видение? Или след былого? Или таинственное слияние того и другого — образ звезды, под которой родился, звезды - судьбы? Всего дороже, что он о звезде постоянно помнил. Сколько твердили вокруг: «Не считай звезды, а гляди в ноги: ничего не найдешь, так хоть не упадешь», — а он все задира л голову и глядел на звезды, падал, не боялся того — лишь бы искать, найти.

В старости он сердился, что никто из учителей не указал ему, ребенку, в звездную ночь на небесный свод, благословлял свою няню, солдатскую вдову Катерину Михайловну, которая в праздничный день заставила его приметить над раскинутыми на зеленом пригорке шатрами, над пестро наряженной хмельной толпой черную грозовую тучу — помогла увидеть единство и противостояние земли и неба, помнил поразившее его в детстве

изречение из попавшей в руки латинской хрестоматии: «Вселенная делится на две части — небо и землю».

Он глядел на звезды, оттого мир вокруг являлся ему необъятным, исполненным бесконечного разнообразия, движения, тайн.

Вскрывая трупы в анатомическом театре, копошась над изготовлением препаратов, накладывая швы или перевязывая раны, он не умел и не желал думать о том лишь, что перед ним, но обязательно жаждал знать, как и почему — устройство и причины; в каждой подробности он видел частицу необъятного.

«Что заставляет растение и животное принимать тот или другой характерный вид? Отчего семя и яйцо заключают в себе зародыш именно того же типа и вида, от которого они произошли? Что сцепляет атомы? Отчего мышечное движение переходит в теплоту, а теплота — в движение?..» Он расскажет современникам и потомкам про тысячи вопросов, мучивших его на пути к уразумению сущности вещей.

«Нам дан мозг, чтобы мыслить, или мы мыслим, потому что имеем мозг?» — спрашивал он. Или еще проще: «Нам даны ноги, чтобы ходить, или мы ходим, потому что у нас есть ноги?..»

Углубляясь в сущность какого-либо предмета, он не мог забыть, по собственному его признанию, о «странном плавании и кружении в беспредельном пространстве тяготеющих друг к другу шаровидных масс», о «существовании бесчисленных миров, составленных из одних и тех же вещественных атомов и отдаленных навеки один от другого едва вообразимыми по своей громадности пространствами».

Это по-ломоносовски:

Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,

Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мыслями утомлен!

Иначе он не умел, не мог...

От рождения он косил, и хотя с усмешкой, но, кажется, вполне серьезно говорил о себе, что ни на что смотреть и ни в чем убеждаться с одной стороны не может — произвольно норовит заглянуть на все и со стороны противоположной.

С младенчества был у него также постоянный шум в ушах: слушая будничную речь, звуки обыденной жизни, он как бы слышал одновременно бег морских волн, горные оползни, качание леса, движение людских толп...

Первая азбука

Москва стояла прозрачная, как зимний лес, казалось, гулкая от простора: две трети с лишком домов погребло в пожаре двенадцатого года. Иные улицы гляделись большой дорогой среди ровного поля — по краям ни здания, лишь кое-где заборы, огораживающие пустыри. Каменные коробки в два и три этажа поднимались, выжженные до черноты: сквозь дыры окон светилось небо.

В приходе церкви святой Троицы, что в Сыромятниках, из пятидесяти домов сгорело сорок четыре.

Москва, однако, была веселая. Москвичи праздновали победу над врагом, доселе непобедимым. Праздновали возле полуразрушенных домов и землянок, на само собою возникших площадях, утопанных углем, и в прежде тесных проулках, направление которых отмечали теперь лишь торчавшие над пожарищем черные трубы печей. Праздновали в виду подорванного Кремля — две башни пострадали и часть стены, крест с колокольни Ивана Великого император Наполеон, убегая, захватил в Париж почетной добычей. Веселились люди, носившие траур,

утратившие имущество и кров, — общая радость торжествовала над собственным горем.

«Москвы больше не существует», — объявил после пожара наполеоновский бюллетень; печальный россиянин, глядя на развалины древней столицы, писал в унынии: не хватит и двух веков, чтобы привести ее в прежнее состояние. Но Москва строилась весело. От зари и до зари во всех концах города дятлами стучали топоры. Свежие щепки сверкали под ногами. Пахло землей, рубленным деревом, смолой, каменной пылью. Дома быстро поднимались, расцветали яркими красками кровель.

На месте старинного Земляного вала с деревянной стеной, давно обветшавшей и полуразрушенной, и ровом, в большей части засыпанным, застроенным лавками, кабаками и кузницами, приказано было после пожара тянуть улицу вокруг Москвы. Частным владельцам предписывали при возведении домов оставлять здесь проезд в двенадцать саженей, а перед домами разбивать сады: на месте Земляного вала появлялось Садовое кольцо.

Иван Иванович Пирогов взамен прежнего сгоревшего дома построил новый, просторный и крепкий; позванный для украшения его живописец-самоучка пустил по стенам, потолкам и печам изображения диковинных растений, птиц и зверей; Николай, проснувшись утром под теплым беличьим одеяльцем, видит, как, распластав золотистые крылья, парят над ним прекрасные птицы наподобие райских.

Няня Катерина Михайловна водит Николая гулять по городу. Он вертит гологой, смотрит, как разбирают обугленные балки и стропила прежних строений, как утаптывают землей и щебнем засыпанный ров, как несколькими ловкими ударами топора вяжут в венцы брусья, как кладут ряд за рядом огнистый кирпич. Он смотрит, как в круглые ямы опускают бережно то гибкий юный саженец, то большое дерево с сильными, облепленными земляным комом корнями. К вечеру в окнах обжитых домов



зажигают разноцветные плашки, ставят транспаранты — картины, освещенные сзади, на просвет. Картины чаще всего веселые: вот Наполеон пляшет под мужицкую дудку, вот удирает, подгоняемый нагайкой казака, вот взлетает над пороховой бочкой, им самим запаленной; а вот французский корабль, разломленный пополам, поникнув парусами, тонет в пучине. Николай Пирогов, запрокинув голову, долго хохочет у каждого транспаранта.

Художник Иван Иванович Теребенев, прежде украшавший скульптурами стены петербургского Адмиралтейства, с началом войны отложил резец и молоток и взялся за кисть и перо. Он стал делать меткие смешные рисунки — карикатуры: высмеивал в них кичливого врага, прославлял доблесть русских воинов, крестьян, казаков. Для малышей, для тех, кому предстояло защищать родину в будущих сражениях, Теребенев издал азбуку «Подарок детям в память 1812 года».

На картонках, схожих с игральными картами, были напечатаны те самые карикатуры, что выставлялись в окнах лавок и светились на транспарантах; под каждой подпись — стишок в две строки.

На первой картонке старый крестьянин показывает удирающим французам на удалого казака:

Ась, право глух, мусье, что мучить старика.

Коль надобно чего, спросите казака.

По первой букве карточка означала А.

На последней — Я — корабль Наполеона разбился о скалу, на которой было написано «Москва».

Я точно как корабль, в волнах погрязший грозных,
Примером послужу и для потомков поздних.

По этим картонкам учился грамоте Николай Пирогов. Он на всю жизнь запомнил азбуку, в которой любовь к отечеству и убежденность в несокрушимости своего народа соседствовали с веселой гордостью победителей.

Плыл над Москвой торжественный колокольный звон.

Русская армия возвращалась из дальних краев с победой. А на улицах и в переулках, во дворах, обнесенных не успевшими потемнеть заборами, в бузинных зарослях и густом лопушнике продолжали кипеть сражения, не знавшие побежденных: никто не желал быть Наполеоном, все были Кутузовы, Багратионы, Платовы, все непременно побеждали.

Дома дети беспрестанно и жадно слушали рассказы о двенадцатом годе: был мешалась с желанной небылицей, сведения из «Ведомостей» — с байкой странника или прохожей старухи богомолки. Здесь говорили про московский пожар: ночь от пламени была светла как день, и небо над городом стало медного цвета, деревья на бульваре пылали огненными столбами, посреди реки горели суда и лодки. Про Кутузова — как ехал верхом вдоль рядов войска, а над его головой, предвещая победу, следом летел орел. Про храброго солдата, не дозволявшего врачам в лазарете осмотреть ему спину, ибо шел он на врага только грудью. Про дремучий лес, вдруг поднявшийся на пути наполеоновской армии, когда повернула она было на Троице-Сергиеву лавру. Дети дышали воздухом, насыщенным этими рассказами, проглатывали их с молоком и кашей, засыпали под неторопливую речь.

Слушая разговоры, Николай Пирогов поглядывал на стену, где, тускло поблескивая медными ножнами, висела отцова сабля. В бою сабле не довелось побывать, из подвигов числился за ней лишь один: по дороге во Владимир, куда семейство бежало от французов, отец, размахивая саблей, отогнал грабителя от крестьянки, за что был награжден полной кружкой молока; но Николаю в медном свечении ножен виделись отблески Смоленска и Бородина.

«Люблю Россию, люблю честь родины... Это врожденное, его из сердца не вырвешь и не переделаешь», — напишет Пирогов четыре десятилетия спустя из осажденного Севастополя.

Страница истории

Жан Доминик Ларрей, знаменитый хирург, был с Наполеоном во всех походах: видел чуму в Египте, оперировал во временных лазаретах у подножия аустерлицких холмов — вокруг палаток для тепла и света жгли костры из сухих виноградных лоз, топтал красный от крови снег в полях близ Эйлау — император заставил пехоту долгие часы стоять под русскими ядрами; в России Ларрей впервые растерялся.

Военная медицина, им выпестованная, была приспособлена к быстроте, натиску, неизменному превосходству, к умению Наполеона переломить события в свою пользу.

Ларрей придумал «летучие лазареты» — амбулансы: легкие двухколесные фургоны-амбулансы туда-сюда катились во время битвы между рядами войск, направляясь к местам скопления раненых. Французские врачи ловко работали прямо на поле боя, не заботясь о будущем: они привыкли, что за сражением непременно следует победа.

Россия не спешила признавать себя побежденной. Русские дороги были дальние, версты на них доставались тяжело. Амбулансы рассеялись на неоглядных просторах, не поспевали всюду, увязали, перегруженные ранеными, которых некуда было деть, потому что война не кончалась. Отставали обозы с палатками, постелями, медикаментами, перевязочными средствами. В Смоленске Ларрей приказал использовать для перевязок бумагу — документы из местного архива, вместо корпии употреблять паклю. Под Бородином он думал, что медицина, наверно, не сумеет приноровиться к размаху таких войн. Он не знал еще, что скоро ему предстоит бросать раненых и больных в сугробах по обочинам дорог, среди заледенелых болот, лесов, гудящих от мороза.

Под Бородином французские врачи работали по колению в крови с отчаянием путешественников, оказавшихся на необитаемом острове посреди бескрайнего океана. Позади лежали тысячи верст чужой разоренной, враждебной земли, впереди неведомое, а на походные столы, которые некогда было обмывать, одного за другим клали раненых — надо было немедленно исправлять врачебный долг, сознавая его бессмысленность. Они изнемогали в своих забрызганных кровью клеенчатых фартуках среди воплей и стонов, хриплой ругани, прерывистого, страшно смолкаемого дыхания, тонкого скрежета пилы, звяканья отложенных инструментов. «Мы не в силах унять кровь, в пролитии которой не виновны», — сетовали они; может быть, впервые отчаяние от собственного бессилия рождало в них сомнение в непобедимости императора. Ларреевы двуколки, насквозь пропитавшиеся кровью, отвозили в лесок и рощи горы отпиленных рук и ног...

Четверть века спустя входящий в славу русский хирург Николай Пирогов встретится в Париже с прославленным Ларреем. Старик в ту пору доживал свои дни на покое. Лицо его отяжелело, как бы застыло в выражении привычной важности. Поседевшие волосы аккуратно причесаны и слегка завиты — не было беспокойной, прилипшей ко лбу прядки, как у любимого императора. Глаза, впрочем, светились живо. Ларрей показал Пирогову орден на ленте с вышитой золотом надписью «Битва при Аустерлице». Про Бородино между ними разговора не было. Еще полтора-два десятилетия спустя прославленный Николай Пирогов уже собственным опытом свергнет Ларрееву медицину — поспешные операции прямо на поле сражения, скученность раненых у перевязочных пунктов.

...В русской армии перед Бородинской битвой назначены были носильщики из нестроевых солдат и ополченцев, полкам придали повозки для вывоза раненых к отдаленным перевязочным пунктам, размещенным в Мо-

жайске и окрестных деревнях. В повозке помещались четыре человека, тащилась она со скоростью три версты в час, а от позиций до перевязочных пунктов было десять верст, туда и обратно — двадцать; тяжелораненых же считали до восьми тысяч. У кого доставало сил, тот уходил сам. И все же раненых старались не оставлять ни прежде, при отступлении, ни на Бородинском поле. Русские медики заботились о тылах, основывая на них свою надежду. Как и вся армия, русская медицина не готовилась к легкой и быстрой войне.

Устройством тыловых госпиталей для русской армии ведал Христиан Иванович Лодер, профессор анатомии и придворный медик. Христиан Иванович, сухощавый, строгий старик, был по необходимости нетороплив и степенен, по необходимости же скор и решителен в действиях, о предметах медицинских предпочитал толковать на латыни, но и по-русски, хотя, будучи прибалтийским уроженцем, говорил с некоторым акцентом, выражал мысль точно и резко.

Несколько лет спустя Лодер станет одним из первых учителей Пирогова.

До начала войны многие видели в Лодере кабинетного ученого, мнение переменялось, когда по просьбе Кутузова всего за три недели развернул он, что называется, на пустом месте госпитали на тридцать семь тысяч раненых, обеспечив всех удобными постелями, хорошим продовольствием, умелым лечением и добрым присмотром. Дано же было ему в подчинение лишь сорок шесть врачей и пятнадцать аптекарей — медиков в действующей армии сильно доставало.

Суворов, бывало, боялся госпиталей, «лекарственным тухлых», где один умирает, а десятеро смертный дых глотают, — у Лодера в госпиталях, всем на удивление, трое раненых из четырех возвращались в строй. Сам Христиан Иванович объяснял сие неустанным попечением о чистоте воздуха и здоровой пище, старатель-

постью лекарей, главное же — добрым духом и веселым нравом российских солдат.

Придет время, и все это — способность действовать быстро и решительно, умение обходиться малыми силами, упорную заботу об ухоженном быте раненых и бодрости их духа — все, что накоплено, найдено было русскими врачами в тягостных и победных кампаниях 1812 года переймет, повторит, разовьет в *своей* военной медицине, военной медицине нового времени, Николай Иванович Пирогов.

Пирогов играет в будущее

Однажды подъехала к крыльцу пироговского дома карета четверней, остановилась, качнувшись. Ливрейный лакей проворно отворил дверцу. Пошарив ногой ступеньку, выбрался из кареты, которая была ему как бы не по росту, высокий, могучего сложения господин. Все в доме засуетились, бросились к дверям — встречать, принимать широкий черный плащ с несколькими выступающими один из-под другого воротниками, подхватывать под локоток, вести в комнаты. Имя господину — Ефрем Осипович Мухин: славный московский врач и профессор медицины. Говорили, что рано больного соборовать, прежде чем попользовал его Ефрем Осипович, случалось, ставил на ноги и безнадежных.

Не было такой части медицинской науки, которую не постиг бы Мухин. И зрелый лекарь, сгорбившийся от долгого сидения над постелями больных, и студентиска зеленый, лишь робко ступающий на избранную стезю, — всякий причастный медицине не уставал листать мухинские труды, особенно из анатомии, где изложены были основы мышцесловия, связесловия, сосудословия, нервословия, — латынь Мухин признавать не желал, все наименования переводил на природный российский язык. Но, врачую, Мухин не склонен был следовать одним

лишь правилам науки: свои суждения он проверял обильным опытом и повседневными наблюдениями.

Пирогов-отец, Иван Иванович, выхлопотал Мухина для одного из сыновей: отрок мучился ревматизмом, врачи сменялись, всякий прописывал новое снадобье, болезнь между тем лишь ожесточалась.

Мухин не торопясь, со вниманием осматривал и ощупывал больного. Затем несколько помолчал, уставя взор как бы в никуда, помял крепкими пальцами свой тяжелый, сильно выступающий подбородок и решительно приказал матушке: «Поплите, сударыня, сейчас же в москательную лавку за сассапарельным корнем, да велите выбрать такой, чтобы давал пыль при разломе...»

Николай Пирогов, мальчик шустрый, переняв общее волнение, бегал туда-сюда, вертелся под ногами, высовывался из-за папенькиной спины, пялил глаза, на него шикали, чтобы не мешал, но Ефрем Осипович взглядывал на мальчика, кажется, благосклонно; Николай же схватывал, сам того не замечая, его слова, осанку, выражение лица, движения рук...

К тому времени, когда впервые встретились мальчик Николай Пирогов и заслуженный профессор медицины, отшагал Ефрем Осипович по белу свету уже более полувека. До кареты четверней, до ливрейного лакея, до славы «первенствующего доктора», до орденского креста на шее и другого в петлице, до властности голоса и взгляда были бедная, неустроенная юность, дырявые сапоги на непрохожих от распутицы дорогах, ночлеги под открытым небом, поля сражений, походные лазареты, штурм Очакова, начальные шаткие ступени жизненного поприща, когда должность госпитального прозектора, назначенного вскрывать трупы, в изобилии поставляемые войной, казалась счастливым случаем, была постоянная надежда на удачу и в постоянном труде осуществление надежд.

Мухин славился неутомимостью: жить без дела — что вовсе не жить, отдых он находил в перемене заня-

тий. «Век живи — век учись» — была его любимая поговорка; он, кажется, поспевал читать все, какие умел достать, журналы, отечественные и иностранные, жадно ловил всякое новое известие, особенно касающееся врачебных и иных естественных наук, повторяя, что тот, кто остается при однажды полученном образовании, обречен плестись в хвосте быстро шагающей жизни. Разговор у Ефрема Осиповича был живой, занимательный, хотя и несколько беспорядочный: он щедро сыпал многообразными сведениями, как бы желая скорее приохотить собеседников к любимому им искусству врачевания.

После первого же мухинского визита брат Николая стал поправляться с непостижимой быстротой; Ефрем Осипович отныне наезжал к Пироговым чудодеем и дражайшим гостем.

Но всего замечательнее игра, которая завелась с этих пор в пироговском доме и жила в нем с постоянством хода больших часов в футляре черного дерева, стоявших в углу зальца. Раздавался стук в дверь — «Лекарь приехал!», няня спешила открывать: лекарь важно скидывал ей на руки плащ, шествовал к больному; щупал пульс, мял себе в задумчивости подбородок (вот только смотреть «в никуда» не получалось — взгляд слегка косящих глаз был острым, направленным точно в какую-то, может быть, ему одному видимую цель), учил варить декокт, то бишь отвар, из сассапарельного корня, именуемого в просторечье чепучинником; «больных» в угоду младшенькому благосклонно изображали сестры, матушка, няня, но лекарь не менялся, всегда один и тот же — Николай Пирогов.

Не было бы счастья...

Из бумаг Московского университета: «От Николая Пирогова. Прощение. Родом я из обер-офицерских детей... От роду мне имеется 16 лет; обучался на первом в

доме родителей моих, а потом в пансионе г-на Кряжева: закону божью, российскому, латинскому, немецкому и французскому языкам, истории, географии, арифметике и геометрии. Ныне же желаю учение мое продолжать в сем университете в звании студента... Свидетельство же мое о роде и летах при сем прилагаю». Дата: «Сентября дня 1824 года».

Двухэтажное здание пансиона с тринадцатью украшенными резными наличниками окнами по фасаду поднималось над невысокой оградой в двух шагах от пироговского дома, почти наискосок. Содержал пансион Василий Степанович Кряжев, известный в Москве педагог, составитель учебников разных европейских языков.

В кряжевском пансионе Николай Пирогов в самом деле обучался всем поименованным в его прошении предметам и, более того, ораторскому искусству — риторике, алгебре, рисованию и танцеванью, отчего-то не поименованным, — тут бумага его ничем против истины не грешит; вот только цифры в ней не сходятся.

«От роду мне имеется 16 лет» и — «сентября дня 1824 года»... Родился в 1810-м, в ноябре: значит, ему еще и четырнадцать не имеется? Откуда же шестнадцать?

Но приложенное к прошению свидетельство «о роде и летах» подтверждает: среди прочих детей Ивана Ивановича Пирогова числится «законно прижитый в обер-офицерском звании сын Николай, имеющий ныне от роду шестнадцать лет».

К тому дню сентября 1824 года, когда Николай подал в правление Московского университета свое прошение, отец уже год как снял обер-офицерский мундир с золотым шитьем по вороту и золотыми пуговицами и облачился в темно-коричневый статский фрак с пуговицами черными, вместо лаковых сапог со звонкими шпорами натянул мягкие с кисточками на голенище — не по своей воле переделся, но по несчастному стечению обстоя-

ятельств. Посыльный, которому он доверил отвезти по назначению тридцать тысяч казенных рублей, исчез вместе с деньгами, рассчитываться же пришлось Ивану Ивановичу. Явились чиновники, описали имущество. Тяжелая темная мебель, посуда в буфете, платье в сундуках, переложенное от моли пахучими метелочками лаванды, даже пуйцовая герань на подоконниках — все стало не свое. Отец вышел в отставку, занялся исключительно ведением частных дел, управлял каким-то генеральским имением; оно бы и ничего, жить можно, но построить взамен привычного новый образ жизни и довольствоваться им оказалось труднее, чем возвести заново дом на месте сожженного при французах. Вот лошадей с коляской пришлось продать, а пешком ходить не то чтобы медленно — спешить теперь некуда, однако обидно и перед людьми неловко. Отец погрузнел, сделался ко всему безразличным, все чаще сидел неподвижно в глубокой задумчивости. Мысль о скорой смерти тревожила его и с ней неизвестность относительно будущего детей, особенно младшего — Николая. Держать в пансионе стало не по карману, да и учение долго, Иван Иванович же суеверно считал теперь дни, оставить сына неучем совсем невыносимо. Ефрем Осипович Мухин, истинно благодетель, подсказал пристроить Николая, не откладывая, прямо в университет: мальчик смысленный и к медицине охоту имеет. Обещал помочь. Осталось только бумаги выправить — в университет моложе шестнадцати не брали. Ну тут уж Иван Иванович подсуетился: поклонялся могучим канцелярским столам, пускал по зеленому в чернильных пятнах сукну красненькие «под локоток», где надо, оставлял и покрупнее, наконец, именно к первому сентября 1824 года явился на свет документ, исправный, со всеми нужными подписями и печатями, о наличии в числе детей Ивана Ивановича Пирогова сына Николая шестнадцати лет.

Ах как вовремя поспел Иван Иванович! Года не прой-

дет — Николай, возвратившись однажды из университета, увидит отца на столе в прежнем, майорском, с золотыми петлицами мундире. Но пока...

Из бумаг Московского университета: «По назначению господина ректора университета, мы испытывали Николая Пирогова... в языках и науках, требуемых от вступающих в университет в звание студента, и нашли его способным к слушанию профессорских лекций в сем звании». Дата: 22 сентября 1824 года.

Пирогов вспоминал в старости, что шел на экзамен, как солдат идет в бой на жизнь или смерть; бой он выиграл — на экзамене выяснилось, что он сведущ в науках более, нежели от него требовали. Знания и зрелость не достигший еще четырнадцати Николай Пирогов приложил к добытой отцом бумажке, и кто знает: если бы не эти знания и зрелость, был бы на свете хирург Николай Пирогов!..

С экзамена отец повез новоиспеченного студента в церковь отслужить молебен с коленопреклонением, а после угощал его шоколадом и сладкими пирожками в известной всей Москве кондитерской Педотти.

Сапоги-скороходы

И вот этот мальчик привозит домой кулек с человеческими костями, подтибренными его новыми приятелями, студентами, в анатомическом театре и подаренными прилежному юнцу. Домашние в тревоге — уж не грех ли? — а он важно и даже с вызовом вертит перед ними череп, демонстрирует лобную кость, венечный шов, соединяющий ее с теменными костями, надбровные дуги. На домашних он глядит свысока, все незыблемое для них ставит под сомнение, он и в церковь-то ходит нехотя: «Религия, маменька, всегда была только уздой», и над исповедью посмеивается: «Если бог всеведущ, стало быть, знал, что я согрешу», и насчет правительства на-

мекает такое, что маменька замирает в испуге: «Куда ж это свет идет!..»

От университета до Сыромятников не больно и далеко; возница на волочке — тряских дрогах, на которые садились, свесив ноги и прикрыв их от грязи мешком или рогожей, — брал за дорогу гривенник, а поторговаться — и пятак; если грязь не по колено, от университета до дома можно было добежать за час, много за полтора, но Николай Пирогов будто сказочные сапоги надел: только раз шагнул, и слободской переулок с его понятиями и укладом остался за горами, за морями, за веками.

Правление университета потребовало от студента Пирогова расписку в том, что ни к какому тайному обществу не принадлежит; он начеркал положенные по форме шесть строк одним махом, не задумываясь; он и не знал ничего ни о каких тайных обществах, четырнадцатилетний мальчик-студент; но однажды кто-то из старших приятелей, рослый и бледный, с длинными нечесаными волосами, жарко дыша на Николая табаком, сообщил ему доверительно, что тайные общества есть, конечно, и что с правительством пора кончать — нужна революция на манер французской, и с гильотиной.

Обедал Николай, чтобы не тратить времени на дорогу, в комнате для казеннокоштных студентов — эти были самые бедные, жили при университете на казенный счет. На застланный бумагой стол складывали кто чем богат: буханку черного, ситник, кусок колбасы, пару луковиц, серебристую селедку; служитель Яков, солдат-инвалид, спешил с медным чайником за кипятком, а находились деньжонки — посылали его за штофом. Рассаживались прямо на кроватях, наскоро накрытых серыми солдатскими одеялами. Пересказывали университетские новости, последние лекции (вон ведь старик Лодер начал было: «Мудрейшая природа пожелала...», да тут же, будто невзначай, покашлял и поправился: «Вернее — созда-

гель мудрейшей природы пожелал...» — каково!), спорили о новейшей европейской философии, ругали Петербург, министров, злобного временщика генерала Аракчеева, царя. Наперебой декламировали стихи — все больше вольные: другие не в ходу, и неинтересно! Рылеева. Пушкина «Оду на вольность»:

Самовластительный злодей!

Тебя, твой трон я ненавижу...

Туманным и морозным декабрьским утром 1825 года в открытых санях примчался из Петербурга царский гононец, привез весть о восстании на Сенатской площади, письмо от нового государя Николая Первого: «Мы здесь только что потушили пожар, примите все нужные меры, чтобы у вас не случилось чего-нибудь подобного». В Москве «пожара» не случилось. Меры были приняты строгие.

На университет власти смотрели теперь с подозрением. В списках университетских воспитанников и в списках участников восстания было много одних и тех же имен. В коридорах и студенческих комнатах споры поутихли. Говорить стали осторожно, тихо, лучше всего было помалкивать. Начальство свирепствовало, добиваясь строгости, подчиненности и единообразия. Жизнь быстро перестраивалась как бы согласно воинскому уставу. Студент такой же человек, как все, следовательно, при виде вышестоящего лица обязан, как все, вытягиваться «смирно» и приветствовать бодрым «Здравия желаем!». Вышел приказ: являться в университет непременно в форменном мундире.

Пироговы к этому времени жили уже не в Сыромятниках. Дом, имущество после смерти отца отняли казна и кредиторы. Ангелом-хранителем объявился полузабытый троюродный дядюшка, судебный заседатель, сам бедняк, обремененный семьею: не дал пропасть родне, подобрал едва не на улице, привез в свой домишко на другом конце Москвы, близ Девичьего поля, уступил мезо-



нин с чердачком. Когда уходили навек из родного дома, там уже орудовали маляры от новых хозяев — закрашивали райских птиц на потолке.

На новом месте жили год. Совестились — дядюшка перебивался с трудом: в суде писал и домой приносил кипу бумаг. Вместо райских птиц у дядюшки желтая канарейка в клетке у окна. Дядюшка, склонив голову, прислушивался к россыпям канарейки и писал, писал не переставая. Николая он жалел, водил в трактир чай пить; однажды, повздыхав с неделю, купил ему сапоги. Мать и сестры принялись за мелкие работы — шитье, латанье, вязанье, благо были рукодельницы. Экономии на всем. За год подкопили деньжонок, продали что возможно, съехали от дядюшки. Сняли себе квартирку — ладонью накрыть, половину тотчас сдали внаем. Николай слышал, как соседи говорили про них, что Пироговы «нищенствуют».

Вместо мундира — откуда деньги на мундир! — сестры соорудили Николаю из старого фрака куртку с форменным красным воротом. Пирогов сидел на лекциях в шинели, выставляя наружу только красный ворот и блестящие мундирные пуговицы.

Из университетского курса

Профессор терапии Матвей Яковлевич Мудров говорил им с кафедры:

— Я учу лечению болезней, но лечу больных. Наука одна — врачевание многообразно. Оттого один врач превышает в искусстве другого. Складна игра не дудкой, а игроком. Вы будете дурные врачи, зная одну лишь медицину богатых. В опочивальню вельможи нет иного пути, как через хижины бедняков...

Рано утром Матвей Яковлевич пил вместо чая отвар из листьев черной смородины, съедал просфорку, поднесенную неимущим страдальцем вместо гонорара, и выез-

жал с визитами. У ног кучера стояли корзины с лекарствами, бутылки с вином и чаем для раздачи бедным пациентам.

В карете Мудров обыкновенно читал, до книг он был великий охотник, библиотеку собрал обширную, но पुще всего ценил сорок томов собственноручно им написанных историй болезни всех до единого больных, которых ему случалось пользоваться. «Медицина только начинается на университетской кафедре, — говорил Матвей Яковлевич, — продолжается же и находит себя у постели больного». Профессор Мудров знал новые европейские теории происхождения болезней, иными увлекался, но это на кафедре; у постели больного он искал объяснения недугу в поврежденном телесном строении и не признавал «умственные причины, отвлеченные от материи и формы» (так он объяснял).

Он много толковал о пользе патологической анатомии — той, что изучает болезненные изменения органов: в анатомическом театре, сравнивая внешние проявления болезни с повреждениями, ею нанесенными, врач уясняет ее сущность, ближе подступает к истине. Но вскрывать трупы Матвей Яковлевич не любил: доверив неприглядное дело помощнику, взбирался в последний ряд амфитеатра, обхватившего анатомический стол, и сверху выкрикивал студентам, что им должно видеть.

В анатомическом театре правил Христиан Иванович Лодер. Стоило взглянуть, как изящно и бережно, двумя пальцами, словно диковинную бабочку, поднимал он перед собой какую-нибудь из отделенных костей черепа, стоило послушать его распевную латынь, изысканную и точную! Университетский анатомический театр был возведен по проекту Христиана Ивановича, и все богатство, в нем заключенное, тоже было Лодерово. Сорок лет собирал профессор коллекцию анатомических препаратов, пополняя ее неустанно; прикупил за немалые день-

ги пять весьма прославленных заграничных собраний; каждый препарат — каждую кость, связку, сосуд — описал подробно и тщательно. На лекции к Лодеру сходились не одни студенты-медики: кому не интересно узнать в подробностях строение собственного тела, обнаружить скрытые силы, управляющие всяким движением? Тем более что Лодер был склонен к философствованию: изъяснение особенностей анатомического устройства человека влекло Христиана Ивановича к рассуждениям о смысле жизни и предназначении человечества.

Ефрем Осипович Мухин в лекциях по физиологии открывал течение процессов в организме, взаимное между собой сообщение всех частей тела, а вместе тесное их сообщение с наружным миром: «Нервная система есть связь, соединяющая организм со всеми предметами, его окружающими». Лекции Мухина часто походили на свободную беседу: он легко перебрасывал мостки от одного положения к другому, размышлял вслух, щедро сыпал сведения, почерпнутые из книг и собственного опыта, во всяком научном вопросе искал практическую его сторону, полагая главной задачей врача и гражданина заботу о благе отечества.

Адъюнкт Никифор Лебедев, читая курс истории медицины, толковал о пользе таковой истории. Она отвергает правила, приличествующие для всех времен. Она учит думать о прошлом и будущем, следовательно, учит скромности. Она открывает бесконечность движения и тем развивает способность к принятию новых истин.

По истории медицины Пирогов выказал успехи очень хорошие.

Пирогов смеется над учителями

В стариковских записках, жадную работу над которыми оборвала смерть, Пирогов вспомнит «комизм и отсталость» своих учителей.

Но трудами Мудрова, Лодера, Мухина, трудами их сподвижников закладывались основы отечественной медицины.

Пирогов и сам почувствует несправедливость оценок, сошлется на сведавшую его болезнь: «университетская жизнь писана мною в дни страданий». Может быть, и впрямь ожесточили его страдания?

Впрочем, он ничего не придумал. В его учителях было так много смешного, нелепого, так много отжившего, того, что захватили они с собой из вчерашнего дня, им дорогого, но о котором юноши, их ученики, знать не желали. Лучшее в учителях, то, что принадлежало будущему, наталкивалось на это вчерашнее в жизни, в науке, в преподавании, смешивалось с ним, а иногда и терялось в нем.

Ученики, которые продолжают учителей, непременно вырастают из них, как из старой одежды. Пирогов не был бы Пироговым, если бы благодумствовал с учителями за смородиновым чайком в дне вчерашнем.

Наверно, и те правы, кто объяснил жестокие пироговские оценки сожалением старика о даром потерянном в молодости времени. В самом деле, Лодер препарировал трупы, зажег в Пирогове любовь к анагмии, но студент Пирогов изучал анатомию по картинкам и не вскрыл ни одного трупа. Мудров толковал о лечении больных — не болезни, о сорока томах, исписанных им у постели страждущих, но студент Пирогов написал всего одну историю болезни единожды виденного больного. Мухин рассуждал о назначении и соотношениях частей тела и выводил отсюда различные способы исцеления недугов, но студент Пирогов не произвел ни одной операции, даже кровопускания; он лишь с чужих слов описывал операции в тетрадке.

Впрочем, однажды его пригласили сделать очистительное соседу-чиновнику: бедняга умирал и до действия

принятой меры не дожидаясь, зато лекарь достался вместо гонорара старый сюртук покойного — конечно, очень кстати.

И все же: так ли уж даром, так ли безнадежно было потеряно время?

Едва выйдя из университета, с первого шага от умозрительного постижения наук к практике, Пирогов выказал удивительную самостоятельность. Только ли в силу таланта, дарованного ему от рождения?

Посмеявшись над учителями, Пирогов очень точно оценил в них то, что с учениками, с ним, Пироговым, отпиралось в будущее: «Но, несмотря на комизм и отсталость, у меня от пребывания моего в Московском университете вместе с курьезами разного рода остались впечатления, глубоко, на целую жизнь врезавшиеся в душу и давшие ей известное направление на всю жизнь». «Направление на всю жизнь» — значит, университет был для Пирогова *университетом*.

Пирогов прославил своих учителей тем, что стал великим учеником. Потомки оценивают их не по словам, а по делам Пирогова.

«Комизм и отсталость» учителей — это комизм и отсталость времени, оставшегося далеко позади. Пирогов любил историю науки: она учила его сомневаться в «неизменных ценностях». Полвека отделяли студенческую жизнь Пирогова от воспоминаний о ней. В эти полвека уложились теория Дарвина, периодический закон Менделеева, учение о клетке. В эти полвека было открыто обезболивание, найдены первые способы борьбы с бактериями при производстве операций, впервые применены микроскопические исследования. В эти полвека творили Сеченов и Боткин, Пастер и Мечников; это были полвека, до краев наполненные его собственным — пироговским — творчеством. Он взглянул на свою молодость с очень большой высоты строгим взглядом человека, изменявшегося вместе с миром.

К новым землям

В старости он поругивал своих учителей, посмеивался над ними — впрочем, это характер, и характер справедливый: он и себя никогда не щадил, беспощадно — беспощадней, чем другого кого, — бичевал за всякую ошибку, медицинскую ли, или житейскую. Он и в расцвете славы не любил льстецов, согласно кивавших в ответ на всякое его слово и во всем ему потакавших, он любил разговор резкий и равноправный — разговор не для упрочения себя в своем величии, а ради выяснения истины. Человек великий, он никогда не пекся о собственном величии, как и о том, чтобы о его величии не забывали окружающие.

Он уже был титулован этим именем «великого», признан первым отечественным хирургом, когда однажды в гостях за обедом молодой военный врач из дальнего гарнизона, не знавший его в лицо, не согласился с каким-то его замечанием, касавшимся хирургии, и заспорил, да так непочтительно, что все, сидевшие за столом, в ужас пришли; он же по окончании спора долго благодарил врача за откровенную и полезную беседу.

Он, наверно, не только с высот собственной старости, но и в юности, в студенческие годы, посмеивался над своими профессорами; в самом деле смешно, когда один, увязая в словах, сонно бубнит что-то по истлевшей бумажке, другой во время опыта путает курицу и петуха, третий отказывается великим постом читать лекцию об оплодотворении, поскольку сие предмет скромный, — посмеяться есть над чем; но эти самые профессора со всеми их курьезами и нелепостями, с их комизмом и отсталостью по-настоящему глубоко любили свое дело, свою науку, иначе бы не заметили остроглазого мальчонку в заношенной одежде и дурных сапогах, не отличили бы его дарования, трудолюбия, охоты к учению. А они заметили, отличили.

В стариковских записках Пирогов передает свой разговор с Ефремом Осиповичем Мухиным, разговор, определивший всю дальнейшую его судьбу, — было это на четвертом году университетской жизни, до выпуска оставались считанные месяцы, и мысли о будущем все чаще тревожили завтрашнего лекаря. Помяв по обыкновению крепкими пальцами подбородок, сообщил Ефрем Осипович, что в городе Дерпте открывается профессорский институт, дабы года за два подготовить своих, русских, профессоров по самым разным наукам, для чего приказано отобрать из университетов человек двадцать лучших студентов: «Вот поехал бы!»

«Непременно предопределено было Ефрему Осиповичу Мухину повлиять очень рано на мою судьбу», — пишет Пирогов, подводя жизненные итоги. И смеяться будет тут же над Мухиным, и ругать его за отсталость, и сетовать, что не нашел времени отблагодарить Ефрема Осиповича за то, что поверил в мальчика, угадал его будущее. Но в тот день, когда Мухин пригласил его для решающего разговора, Николай Пирогов, кажется, и спасибо-то позабыл сказать доброму Ефрему Осиповичу, бухнул: «Согласен!» — и весь ответ.

— А согласен, так требуется непременно объявить, которою из медицинских наук желаешь исключительно заняться.

Пирогов назвал: физиологией.

— Нет, физиологию нельзя, — отчего-то решил Мухин. — Выбери что-нибудь другое.

Николай всю ночь ворочался, утром нашел Ефрема Осиповича, объявил:

— Хирургия...

Этот наскоро приведенный в записках разговор требует особого внимания: с него начинается Пирогов-хирург.

Почему вначале будущий великий хирург выбрал фи-

зиологию? Пирогов объясняет с усмешкой: в «ребяческих мечтах» он представлял себе, будто с физиологией знаком едва ли не более, чем с другими науками; сверх того, «физиология немыслима без анатомии», а уж анатомию, ему казалось, он знает, «очевидно, лучше всех других наук»; наконец, Мухин — физиолог, значит, «такой выбор придется ему по вкусу».

Но пироговская язвительная усмешка не должна затемнять истину. Пирогов действительно хорошо знал физиологию. Мухин, по тем временам, бесспорно, образованный физиолог, оценивал его успехи как отличные. Ироническое замечание — физиология-де была названа с умыслом, в надежде, что Мухину такой выбор придется по душе, — тоже можно прочитать с другой интонацией: не в угоду Мухину, а вслед ему. Пирогов с детства играл «в Мухина»: зазорно ли было мальчику-студенту продолжать игру в того, кто для всей Москвы, для всего тогдашнего пироговского мира был предметом поклонения, в того, кто был вместе учителем и благодетелем, творил его судьбу? Это потом, обернувшись назад из грядущего далека, — комизм, отсталость, а в юности, в неведомое грядущее всматриваясь, хоть и насмешничал, поди, с приятелями, однако только в мечтах смел возноситься — стать Мухиным! Но Мухин, не утруждая себя объяснениями, коротким «нет» запретил Пирогова-физиолога.

Мальчишка не сдается, ищет свой путь. «Физиология немыслима без анатомии, а анатомию-то уже я знаю, очевидно, лучше всех других наук». Успехи Пирогова в анатомии подтверждаются и высокими оценками в ведомости, и свидетельствами однокашников; да и «великий Пирогов», каким он скоро предстанет перед современниками и каким останется для потомков, равно Пирогов-хирург и Пирогов-анатом. Почему же, услышав от Мухина «выбери другое», он тотчас не назвал анатомию?

Ответ опять-таки у самого Пирогова. «Кроме анато-

мии, есть еще и жизнь», — пишет он, и уже без всякой усмешки. Это пишет прославленный анатом на закате дней — не странно ли? Нет. Медицина для Пирогова — наука исцеления больных. Анатомия — основание медицины, но Пирогову мало закладывать основание, он хотел возводить здание. Он с младенчества привык играть во врача-исцелителя. И, быть может, по той же причине, по какой он не выбрал анатомию, он так легко отказался и от физиологии: и анатомии и физиологии, в которых он чувствовал себя увереннее, чем в других науках, предстояло послужить какой-то неведомой третьей. «Так как физиологию мне не позволили выбрать, а другая наука, основанная на анатомии, по моему мнению, есть одна только хирургия, я и выбираю ее».

И еще: «Какой-то внутренний голос подсказал тут хирургию».

Нет, не шутка этот «внутренний голос», связавший, стянувший и наперед определивший научные интересы и помыслы этого лекаря семнадцати с половиной лет, кончавшего курс в Московском университете! В воспоминаниях он пишет про свои ответы Мухину пренебрежительно: «бухнул», «брякнул», — при чтении это сразу бьет в глаза, но, вчитываясь, можно тут же заметить, что ответ свой он «обдумывал», того более, успел «справиться, прислушаться, посоветоваться». И хирургия была, наверно, не так ему неведома, что знал о ней только, что основана на анатомии. Пусть, по собственному признанию, «не делал ни одной операции, не исключая кровопускания и выдергивания зубов», пусть постигал ее по книжкам да по тетрадкам: дорога в Дерпт лежала через Петербург, там пришлось сдавать экзамен при Академии наук, Пирогова два часа гоняли по хирургии, он только раз обмолвился, называя латинский термин. «Optime, — проговорил экзаменатор, отпуская его. — Превосходно».

«Внутренний голос», подсказавший Пирогову хирургию, был вместе чутьем и раздумьем.

— Хирургия, — наутро сказал он Мухину. И в эту минуту, от волнения, должно быть, океанский прибой, горные обвалы и говор толп в ушах его были шумны и раскатисты.

— Хирургия. И «тотчас же имя мое было внесено в список...».

— Вы едете открывать неизвестные острова и земли, — сказано было Николаю Пирогову перед отъездом, и это не образ, не фигура ораторской речи — это сказано было буквально, это изрек сосед-портной: прослышав про путешествие Пирогова, он, видать, спутал что-то. Портной был важным делом занят: подгонял на Николая старый сюртук, пожертвованный вдовой чиновника, к которому юный лекарь опоздал с очистительным.

Пирогов расхохотался, услышав про «неведомые земли».

Но — какое пророчество!

Страница истории

Многого из того, что неразделимо связано теперь с понятием «операция», не было и в помине, когда начинал Пирогов.

Это теперь — сияние и блеск операционной, взошедшая над столом солнцеподобная сфера, в отличие от дневного нашего светила не дающая тени, — образ, таинственно прельщавший и вместе ужасавший некогда воображение магов; это теперь — сверкающая, уже и не белизна часто, а акварельно-нежная морская зелень халатов и простынь, марлевые маски, долженствующие очистить и обезвредить самый поток выдыхаемого хирургом воздуха и вместе придающие лицу его выражение особенной сосредоточенности, перчатки, благодаря тонкости своей и плотности натяжения почти становящиеся второй кожей и едва не прорастающие нервами; это теперь — немисли-

мость прикоснуться этими обтянутыми резиновой пленкой руками к чему-нибудь, кроме инструментов и операционного поля, и сами инструменты, опущенные в раствор, кипящие в стерилизаторах, накрытые салфетками для защиты от того, чему вроде бы и взяться-то неоткуда в этой сияющей чистоте, и само операционное поле, оберегаемое как святыня. Это теперь...

В ту пору, когда начинал Пирогов, хирург, засучив — чтобы не испачкать! — рукава сюртука, оперировал в неопрятной, настоящей гнилостным запахом «гошпитальной» палате, прямо на койке, на слежавшемся под многими телами, мешковинном, набитом соломой тюфяке или где-нибудь в коридоре, на подвинутом ближе к окну деревянном столе, который споласкивали не до операции, а после, случалось, оперировал прямо на дому у страждущего, и эти домашние операции часто сходили удачнее, потому что тут было чище, меньше заразы, чем в госпитале.

В ту пору не знали причин заражения ран. Их затыкали корпией, которую от нечего делать щипал из ветоши больной на соседней койке, или теребил помаленьку служивший при госпитальной кухне солдат-инвалид, или добросердечная монашенка присылала из недалекого монастыря; на свежие послеоперационные раны клали повязки и компрессы, снятые с гнойных ран другого больного, выздоравливающего или незадолго перед тем отдавшего богу душу. Не знали, понятно, и средств борьбы с заражением, оттого простых случаев почти не встречалось. Нагноения, горячки преследовали самых умелых хирургов, сводили на нет их умение.

В ту пору не было обезболивания. Решиться на операцию означало часто не меньше, чем добровольно пойти на пытку, — стоит ли удивляться, что многие больные предпочитали смерть от собственной болезни целительным пыткам под ножом хирурга. Но и от хирурга требовались мужество, выдержка и сердечное расположение

к страдальцу: нелегко делать свое дело, зная, что приносишь муки, слыша вопли и стоны, мольбы и проклятия. Знаменитый немецкий хирург Диффенбах, один из будущих учителей Пирогова, говорил: «Спокойствие и непоколебимость совсем иное, чем жесткость, и при столь болезненном акте, как хирургическая операция, необходимы нежность и бережное отношение». В ту пору имелся единственный способ борьбы с болью — быстрота: искусные хирурги справлялись с ампутациями, вылучиваниями суставов, камнесечениями в считанные минуты.

Пирогову пришлось испытать все невзгоды, которые приносило избранное им поприще его учителям и предшественникам, ему понадобилось узнать все, что они знали, научиться всему, что они умели, для того чтобы привести в понятие «операция» многое, что ныне с этим понятием неразделимо связано.

Счастливый ученик

В доме дерптского профессора хирургии Ивана Филипповича Мойера в бисквитный торт запекали боб: кому достанется кусок с бобом — тому и счастье выпадет. Пирогову боб ни разу не достался, а он счастлив.

В гостиной у Мойера собираются здешние профессора и лучшие из его учеников, а также заезжие гости, первый из них и самый частый — поэт Василий Андреевич Жуковский. Вечера у Мойера проходят в оживленных беседах, чтении стихов, игре на фортепьяно. Музыкой потчует гостей сам хозяин; более всего любит он играть Бетховена, с которым приятельски сошелся, будучи в Вене, где изучал медицинскую науку. Бетховен всего год как умер.

Пирогов затаился в уголке, смотрит, как, обрушивая звуки, стремительно проносятся по белым и черным досочкам клавиш большие, сильные руки учителя, как

дрожит пламя свечей в бронзовых канделябрах, стоящих на фортепьяно, и в такт им быстро и ровно покачивается, напоминая биение сердца, их отражение — светлые овальные пятна на полированной поверхности красного дерева. Он смотрит, как прославленный Василий Андреевич, расстегнув коричневый теплый сюртук, удобно устраивается в кресле, раскладывает на столе, покрытом вязаной красной скатертью, листы рукописи и восторженно, гордясь написанным, читает: не свое — Пушкина — ненапечатанную еще трагедию о царе Борисе. Пирогов думает о том, что игра Мойера особенно прекрасна оттого, что он слышал, как играет сам Бетховен, и чтение Жуковского прекрасно оттого, что он слышал, как читает Пушкин, — и вот он, Николай Пирогов, за одним столом с Жуковским и Мойером, а значит, как бы с Пушкиным и Бетховеном, пьет душистый китайский чай, лакожится посыпанным нежной сахарной пудрой бисквитом, и ему тепло и радостно не от чая, а от ощущения мира прекрасных людей вокруг.

В мойеровском доме все к Пирогову благоволили — и почтенная профессорова теща Екатерина Афанасьевна, сестра поэта Жуковского по отцу, и малолетняя дочь профессора Катенька, рано потерявшая мать и потому, быть может, не в меру избалованная и чувствительная — в семействе ее называли Белоснежкой. Сам Иван Филиппович был к нему особенно расположен.

Вспоминая Мойера в своих записках, Пирогов называет его «талантливым ленивцем». Хирург умелый и образованный, Мойер рано отлепился душой от избранной науки; врачебный труд, не ведающий покоя, постоянно несущий утраты и разочарования, сделался для него тягостен; Иван Филиппович жил дремотно и в сорок с небольшим почитал себя стариком, когда вдруг рядом появился этот большелобый, начинающий плешиветь мальчик с косящими острыми глазами, отданный ему в обучение. И тут случилось чудо: не он мальчика, а маль-

чик его увлек, захватил, потащил за собою в клинику, в аудиторию, в анатомический театр; он словно живую кровь влил в стареющего профессора — Мойеру снова стало интересно оперировать, вскрывать трупы, читать лекции, и, где он ни появлялся, куда ни взглядывал, ни обращивался, всюду встречал он эти жадные, чуть косящие, словно нацеленные, глаза. Он уже поручал ученику операции, самые сложные из тех, что делал сам, во время операций стоял рядом — ассистировал, подсказывал, всякую минуту был готов подхватить и продолжить начатое, но подхватывать не приходилось: сняв очки в тонкой серебряной оправе, он смотрел внимательными синими глазами, как ловко справляется с работой этот чудесный подмастерье, как всякий раз за мгновение до подсказки делает именно то, что он, Мойер, хотел ему подсказать, — смотрел и поражался, откуда этот вчерашний студент, не имеющий ни опыта, ни навыка, знает — или чувствует, что ли, — все то, что он сам, Мойер, постигал в госпиталях Италии и Германии под началом прославленного Антонио Скарпы и не менее прославленного Иоганна Руста.

Мойер рассказывал Пирогову:

— Я приехал к Русту из Италии, от Скарпы. Руст показал мне в госпитале одного больного с опухолью под коленом. «Что бы тут сделал старик Скарпа?» — спросил он у меня. Я ответил, что Скарпа предложил бы ампутацию. «А я вырежу опухоль», — сказал Руст. Подлипали и подпевалы уговаривали его показать прыть перед учеником Скарпы, и Руст тут же приступил к операции. Нарост оказался сросшимся с костью, кровь брызгала струей, больной истекал кровью; ассистенты со страху разбежались. Я помогал оторопевшему оператору перевязывать артерию. И тогда Руст сказал мне: «Этих подлецов я не должен был слушать, а вот вы не советовали мне начинать операцию и все-таки не покинули меня, я этого никогда не забуду».

Однажды после трудно проходившей, затянувшейся литотомии — операции по извлечению камня из пузыря, — которую делал Мойер, Пирогов сострил: «Если эта операция кончится удачно, я произведу камнесечение палкой». Передали Мойеру, он не обиделся: рассмеялся от души. Ему не нужны были подлипалы и подпелы — он радовался ученику.

Пирогов исповедовался в записках, вспоминая, как юношеское самомнение поставило его однажды «в чистые дураки»: «Нигде ничего не читав о резекциях суставов, вдруг предлагаю у одного больного в клинике вырезать сустав и вставить потом искусственный». Мойер с улыбкой начал над ним подтрунивать. «Я должен был прикусить язык и смеяться над собственной же нелепостью». Сто лет спустя известный отечественный хирург, профессор В. А. Оппель приведет этот рассказ Пирогова и заключит восторженно: «Ну разве не гений?! Гениальный ум и гениальная научная фантазия вели Пирогова так далеко, что его современники, и опытные, пожимали плечами над мыслями мальчишки, заставляли и его смеяться над собой, сконфуженного, а в то же время заставляли его отмечать, его уважать, ему удивляться».

Смеясь, может быть, чувствовал Мойер, как по спине мурашки пробегают, — дай срок, мальчишка впрямь и камнесечение сделает, какое доселе не снилось никому, и сустав вставит. Отношение Мойера к Пирогову сродни отношению Жуковского к Пушкину: это отношение побеждаемого учителя к побеждающему ученику.

В полете

Не потому человек, едва появился на Земле, едва встал на ноги, устремил взгляд в небо и возмечтал летать, что пекся о скорости передвижения. Нет! Полет — это преодоление земного притяжения, силы тяжести,

победа над косным, над тем, что представлялось неизменным и неизменным, над собою вчерашним; полет — это широта взгляда и свобода движения.

Пирогов счастлив — он летает.

Из аудитории летит в клинику, из клиники в анатомический театр — ставит опыты на животных, учится оперировать на трупах, — надо проверить, подтвердить опытом все, что услышал, прочитал, увидел, надо приготовиться к тому, что предстоит завтра.

Уже друзья-приятели давно разбрелись: кто засел в заполненном шумом и табачным дымом кабачке, где крепкие кельнерши, бойко отвечая на шутки посетителей, ставят на столы высокие под белой шапкой пены пивные кружки, кто предпочел бутылку красного вина и душевную беседу с товарищем, кто в благовоспитанном семействе у камина скучно жует бутерброд, запивая молоком из узкого стакана, кто уже завалился на покой в студенческой своей келье под скошенным потолком мезонина, украшенной висящей над кроватью шпагой (дела чести дерптские студенты решают на дуэли) и стоящим на шкафу черепом, — вряд ли, впрочем, обитатель кельи порядочно помнит названия составляющих череп костей, швов, перегородок и отверстий, а кто, наоборот, не обрел еще крова и, сотрясая песнями воздух, бродит по темным аллеям парка, узким городским улицам, вдоль берега неширокой реки, ставшей местом вечного успокоения многих хмельных гуляк, — Пирогов работает.

Уже и сторож, жилистый чухонец с желтым от вдыхания дурных испарений лицом, храпит в сенах, и храп его, разносясь по темной пустой мертвецкой, в чувствительных до гулкости ушах Пирогова отдается смещением горных массивов, — Пирогов, приладив прямо на грудь трупа несколько свечей в низких подсвечниках, увлеченно оперирует. Ах как легко идет рука, как уверенны и точны разрезы, как аккуратно и красиво ложат-

ся швы: здесь, когда больной не кричит, не дергается, когда рана не кровит, когда рука и сердце спокойны, потому что уже ничего не решают, рождается сознание собственного могущества; операции здесь проходят ладно, гладко и пресно. Пресно — потому что больной не дышит тяжело, не стонет, не бьется, потому что рана не кровит живой кровью, потому что могущество твое — техника, не более, а главное могущество врача — борьба за жизнь и победа в борьбе. Но он придвигает свечу ближе к ране. Это холодное старое тело, которое некому предать земле, для него целый мир, он орудует ножом вширь и вглубь, он вместе географ и геолог, он каждым движением открывает новые острова и земли этого лежащего перед ним мира, исследует его пласты; завтра в клинике для него не окажется неожиданностей, Иван Филиппович не успеет рот раскрыть, чтобы присоветовать что-то, а он, опережая учителя, будет заранее знать, что встретит: вид мышцы, направление и глубину залегания сосуда, протяжение нерва...

Пирогов одну за другой задувает три свечи, почти сгоревших, подхватывает оплывший огарок четвертой и, светя себе, идет к двери; в сенях будит сторожа, чтобы запер.

Окна большинства домов уже темны, почтенные горожане ложатся рано, да и в кабачках поутихло, только из глубины парка разносится удалая песня. Быстрой походкой он спешит к дому Мойеров, там — счастье! — еще не спят. Его сажают к столу, дают кусок бисквита — без боба, боб, наверно, достался кому-то, он жадно ест, подбирая крошки с тарелки и со скатерти. Незнакомые гости с удивлением оглядывают молодого человека в сильно поношенном, перешитом с чужого плеча сюртуке, в несвежей сорочке с замаранными манжетами; за чаем молодой человек твердит о вскрытии, о трупах, его речь звучит неприлично, и, кажется, будто от его рук, сюртука, манжет дурно пахнет, — все это не идет

к уютной гостиной, к фортепьяно красного дерева, свечам в канделябрах, не вяжется с музыкой и стихами, звучавшими здесь четверть часа назад. Хозяева, однако, относятся к юноше с подчеркнутым благожелательством, Иван Филиппович внимает ему чуть ли не с восторгом, гости осведомленные наскоро объясняют новым, что Пирогов — будущий гений, а сам он не замечает ни перемигиваний, ни игры лиц, ни намеков, как не догадывается, идя из покойницкой в гости, потратить время — дать крюк и сменить сорочку.

Уж какой есть! А он, разгорячась, говорит звонко о перевязке большой артерии да еще рукой себе помогает для наглядности.

Мойерова теща Екатерина Афанасьевна пододвигает ему под локоть остаток торта, — пачкая пальцы в сахарной пыли, он отламывает большие куски и, продолжая говорить, отправляет их в рот. А знаете ли вы самое поразительное? Разные животные по-разному отвечают на перевязку брюшной аорты. Почему? Вот тут-то и предстоит подумать! Его спрашивают, обедал ли он. Он замолкает, лицо его краснеет пятнами, на лбу выступает пот, он неловко отряхивает пальцы над скатертью. Он просто позабыл про обед, как однажды в рождественскую ночь позабыл про великий праздник — заканчивал опыт писал статью, только на рассвете спохватился...

Едва светает, он прокатывает под хозяйкиной дверью протяжное «ауфвидерзеен», и тут же его стоптанные каблуки дробно стучат по лестнице; вечером, уже в полной темноте, он шарит ладонью по двери, отыскивая замочную скважину, отпирает собственным ключом замок, тихонько проскальзывает к себе и тотчас зажигает свечу на столе — надо записать дневные наблюдения и выводы. Днем его видели в госпитальной палате, и рядом с Мойером у операционного стола, и в сарае при анатомическом театре — там он возится со своими подопыт-

ными собаками и телятами, и в препараторской, где прославившийся на весь Дерпт чудачествами старик анатом Вахтер, угадавший в ученике профессорского института будущего *Пирогова*, по странному обыкновению постоянно жуя спичку, читает для него одного полный курс анатомии с демонстрацией на свежих трупах и спиртовых препаратах. Пирогов счастлив в Дерпте — он летает. И не оттого, что походка его легка, что шаги быстры, но оттого, что мысль его стремится неостановимо вперед и выше.

Про голову и руку

Быть, а не казаться. С годами — и скоро уже -- слова эти будут произнесены и станут жизненным девизом Николая Ивановича Пирогова, но до поры стремление натуры не закреплено в слове, даже не осознано, существовало не столько в мысли, сколько в чувстве: он *был*. Был какой был, Николай Пирогов, профессорский кандидат, как их тут называли.

Он летал по городу с триязыким названием: немецким — Дерпт, эстонским — Тарту, русским — Юрьев; по городу, заполненному студентами, — они хозяйничали здесь, чинили суд и расправу, назначали всему и всякому цену. Он летал среди лихих немецких буршей-корпорантов (у каждого товарищества-корпорации свой устав, своего цвета шапочка, своих цветов перевязь через плечо, а между корпорациями отношения подчас извилистей, чем между германскими княжествами), летал среди своих русских, отводивших душу за дружеской, сокровенной беседой и бравшей за живое песней, — русские песни в Дерпте сочинял студент и поэт Николай Языков: «Из страны, страны далекой, с Волги-матушки широкой, ради сладкого труда, ради вольности высокой собралися мы сюда». Он не появлялся, хотя зазывали, на буршеских пирушках, где голубым огнем пылала на

скрещенных шпагах облитая ромом сахарная голова, где хвастались успехами у женщин и победами на дуэлях; со своими, русскими, ему тоже некогда было особенно откровенничать и песни петь. Он *был* — сам по себе, маленький, с быстро лысеющим лбом и острыми глазами, в побелевшем от ветхости сюртуке, которого ему хватило на все пять лет дерптского учения, сам по себе среди самодовольных буршей, задумчивых русаков, среди синих университетских мундиров с высоким черным воротом, расшитым золотыми листьями, — в Дерпте его узнавали, и знали про него, и если посмеивались, то с уважением и гордясь им. Потому что как не посмеяться над этим «герр Пирогофф», который тратит свое ничтожное жалованье на покупку теленка для опыта, а за тарелкой телячьего супа идет к профессору Мойеру, как не посмеяться над этим завтрашним профессором, который ловит бродячих собак и кошек все для тех же своих вивисекций, но никак не соберется подлатать развалившиеся сапоги.

Они только не знали, что это сапоги-скороходы...

Он тогда с головой влез в операции на больших сосудах (и теперь, через полтора столетия, это направление остается одним из ведущих в хирургии). Его захватили задачи, связанные с перевязкой артерий. Но, взясь со своими несчастными телятами, собаками и кошками, он искал не ловкости руки, хотя, само собой, становился непревзойденным техником, — он желал узнать и соединить воедино все, что происходит в организме при перевязке сосуда. Организм был для него мир взаимодействия и взаимозависимости. Все в этом мире было неотъемлемой частью целого. Так движение небесного тела невозможно понять и вычислить, не учитывая существования и движения других небесных тел. В организме, как в мироздании, немыслимо своеволие: своеволие означает болезнь. Там, где другой обходился единственным опытом, он ставил десятки: ему мало было уверить-

ся в том, что рука набита, он постигал закономерности. Пирогов писал: «Мало того, ежели искусно разрезывает части хирург, надобно, чтобы он имел самые тонкие анатомико-патологические познания о тех частях, которые он разрезывает; иначе он не заслуживает имени хирурга».

Вокруг поговаривали, что он, пожалуй, слишком увлекается опытами, в мойеровской гостиной заводили разговоры о его жестокости, белоснежка Катенька хныкала, жалеючи телят и собачек, — вон и Жуковский Василий Андреевич морщится неодобрительно и даже опасно передергивает плечами.

Пирогов сердился:

— Теленок, который ждет моего завтрашнего опыта, принесет больше пользы человечеству, чем его собрат, съеденный нынче за обедом!

Чай пить не оставался, говорил раздраженно, что спешит в мертвецкую, сам, быстро шагая, отправлялся в кондитерскую Штейнгейзера, славившуюся яблочными пирожками, на свои медяки брал пирожок, экономно заваренный буфетчиком чай в белом фаянсовом чайнике — пусть они там приканчивают бисквит, ищут в нем свое бобовое счастье!..

Он думал: счастье — это, наверно, парение птицы. Когда все уравновешено — собственная тяжесть, и притяжение земли, и форма тела, и потоки воздуха.

Пирогов писал: хирург наслаждается уверенностью, если голова его не легче и не тяжелее руки.

...Темой диссертации он избрал перевязку брюшной аорты, выполненную до того времени — и то со смертельным исходом — лишь однажды английским хирургом Эстли Купером. Пришлось воевать с прославленным англичанином. Купер многого не увидел, что открыл и осмыслил Пирогов.

Передергивают плечами — Пирогов жесток; но только большая серия опытов показала, что разные животные по-разному отвечают на одно и то же вмешательство в зави-

симости от их величины, анатомического устройства, а одни и те же — в зависимости от способа производства операции.

Крутят носом — Пирогов-де пропитался миазмами покойницкой; но что прикажешь делать, когда надо свести воедино хирургию и анатомию, физиологию и патологию, уравновесить руку и голову.

Выводы пироговской диссертации были одинаково важны и для теории, и для практики. Он первый изучил и описал топографию, то есть расположение брюшной аорты у человека, расстройства кровообращения при ее перевязке, пути кровообращения при ее непроходимости, объяснил причины послеоперационных осложнений. Он предложил два способа доступа к аорте: чрезбрюшинный и внебрюшинный. Когда всякое повреждение брюшины грозило смертью, второй способ был особенно необходим. Эстли Купер, в первый раз перевязавший аорту чрезбрюшинным способом, заявил, познакомившись с диссертацией Пирогова, что, доведись ему делать операцию вновь, он избрал бы уже иной способ. Это ли не высшее признание!

...По неписаному дерптскому правилу, докторант, отправляясь на дом к декану сдавать экзамены, высылал впереди себя несколько бутылок вина, чай, сахар, торт и шоколад для угощения профессоров-экзаменаторов. Пирогов поступил не по правилам, и не подумав упредить свой приход установленным оброком, — деканше пришлось сооружать чайный стол за собственный счет. Она потом две недели не могла успокоиться, на чем свет стоит бранила несносного Пирогова. Хорош доктор медицины! Мало что явился с пустыми руками: когда декан во время экзамена предложил ему чашку чая, ничуть не смутился, и в сахарницу залез не щипчиками, а прямо пальцами!..

Кроме устного ответа на сорок четыре вопроса из двадцати двух научных дисциплин, от кандидата на степень доктора требовали две письменные работы. В одной из

них, посвященной удалению щитовидной железы, Пирогов вывел некоторые общие правила:

«Рассуждая о какой-нибудь хирургической операции, я имею обыкновение всегда ставить перед собой следующие вопросы:

1) Каково *строение и функция* того органа, который мы подвергаем операции?

2) Каково *положение* этого органа относительно *соседей*?

3) В чем заключаются *заболевания* этого органа?

4) Наконец, как действует на него наше *механическое воздействие*?»

Это был голос новой хирургии.

Страница истории

И уединенный дуб не сам по себе вырастает среди чиста поля: и он начинается с желудка, брошенного в почву другим деревом.

При царе Алексее Михайловиче доносили воеводы, что без лекаря «в полку у нас некоторыми мерами быть не мочно», а полки похвалялись лекарями «добрыми и учеными», умеющими «пулки вырезывать», «раны отворять», «выводить» камни и «убирать» из гнойников «вредительную мокротность». Сами же государевы «холопья бедные и беспомощные Аптекарского приказу лекарского и костоправного дела ученики» били царю челом: они во всех службах за великим государем были, ратных раненых людей лечили, и теперь в Москве в приказе днюют и ночуют непрестанно, и в посылки ходят, и всякую работу работают, но им, «людишкам бедным и скудным», годового жалованья не указано, а лекарям-иноземцам царское жалованье и месячный корм идет большой — «ныне, государь, хлеб, харч и дрова — все дорого, и нам, бедным, в нынешнюю хлебную дороговлю с женишками и с детишками прокормиться нечем».

С этих лекарей и костоправов, закаленных походами и нуждою, находчивых и бывалых от вечных тягот и скудости, обиженных, голодных, битых, но гордых своей государству российскому надобностью, начиналась отечественная хирургия, из их рук в конце-то концов принимал Пирогов горящий факел, с тем чтобы разжечь новое, невиданной яркости пламя.

Царь Петр постоянно носил при себе два футляра: один с математическими инструментами, другой с хирургическими, слушал лекции славных медиков, спиртовал препараты, «разнимал» в анатомическом театре мертвые тела; умел царь Петр делать разрезы, пускать кровь, перевязывать раны, выдергивать зубы; произвел он и полостную операцию, выпустив из брюха голландской купчихи, страдавшей водянкою, двадцать фунтов жидкости.

Главное же — пошли от петровского времени училища медико-хирургические и школы при госпиталях: им было определено «доставлять природных российских докторов для занятия мест, званию их соответствующих». Учение в госпитальных школах и училищах длилось и пять лет, и семь, а когда и десять, ученики, все больше низкого звания, держались на черных пирогах да жидкой каше, однако чудом тянулись ввысь и в плечах раздавались, быстро вырастая из отроческой одежды, в которой из родительского дома приведены были в учение. Над губой лишь первый пушок курчавился, а они важно сидели на «лекциях», записывая оные расплюснутыми свинцовыми палочками, скатанными из дробы и заменявшими карандаши, или гусиными перьями, собранными летом, после успеньева дня, по берегам московских прудов и речек, где разгуливали стада линяющих гусей. В госпиталях школяры практиковались над болящими, а в покойничкой над мертвыми телами, чтобы равно и в анатомии и в хирургии «обыкнуть» и знание иметь о всякой «от главы до ног» болезни, «которая на теле приключается и к чину хирурга надлежит».

В Европе и в восемнадцатом столетии спорили с азартом, кто такие хирурги — представители науки медицинской или цеховые ремесленники, подобные цирюльникам и банщикам? Профессор анатомии, одетый в черную шелковую мантию, тряс париком на университетской кафедре или над бездыханным телом производил разного рода экзерсисы, изъясняя его устройство, а бродячий хирург, зашедший в город вместе с комедиантами, раскидывал ярмарочную палатку рядом с их балаганами и, в яркой одежде, перекрывая крики шутов, зазывал к себе пациентов. В России же — тут, глядишь, запоздалое начало пошло на пользу — хирургия с первых шагов почиталась медицинской наукой и преподавалась вместе с анатомией, и наставники по большей части были одни и те же.

«Ученый лекарь» Мартын Шеин первый перевел на русский язык учебники и анатомии и хирургии, он же составил первый в отечестве анатомический атлас, и он же делал сложные и разнообразные операции, будучи главным доктором Санкт-Петербургского адмиралтейского госпиталя. От него, от Мартына Шеина, к слову сказать, пошли у нас такие вечные, кажется, наименования, как «сотрясение мозга», «кровеносные сосуды», «рана», «язва», «воспаление», «перелом», «отек», «насморк».

А следом первый в России преподаватель хирургии, «лекционный доктор» Константин Иванович Щепин. Вятский семинарист поначалу преуспел в языках, был взят в Академию наук переводчиком, позже выказал необыкновенные способности к ботанике, послан был для усовершенствования в чужие края, свел знакомство с достопочтенным Линнеем, тут, однако, по обстоятельствам житейским и по собственному влечению занялся медициной и вскорости обнаружил в ней такие познания, что Медицинская канцелярия, прослышав о том, пожелала приобрести Константина Ивановича, Академия же наук, поразмыслив, его, по едкому слову Ломоносова, «продала» за

1060 рублей, в которые обошлось его путешествие и учение за границей. Для обретения «медической практики» Щепин добровольно отправился в действующую армию, после чего преподавал в Московской госпитальной школе, читал там анатомию и хирургию с показом на трупах («кадаверах») и разбором больных, читал, кроме того, физиологию, еще «в свободное время» фармакологию и ботанику, а «в промежутках» патологию и клинические лекции, и читал не на латыни, не на немецком, а, как никто до него, на родном языке.

В 1802 году Петр Андреевич Загорский, возглавлявший кафедру анатомии в Петербургской медико-хирургической академии, издал первый русский учебник — «Сокращенная анатомия, или Руководство к познанию строения человеческого тела»; пятью годами позже сотоварищ его, в той же академии занимавший кафедру хирургии, Иван Федорович Буш выпустил в свет «Руководство к преподаванию хирургии» — труд, замечательный своей обширностью (три тома, тысяча триста страниц!), тщательной подробностью, стройной системой.

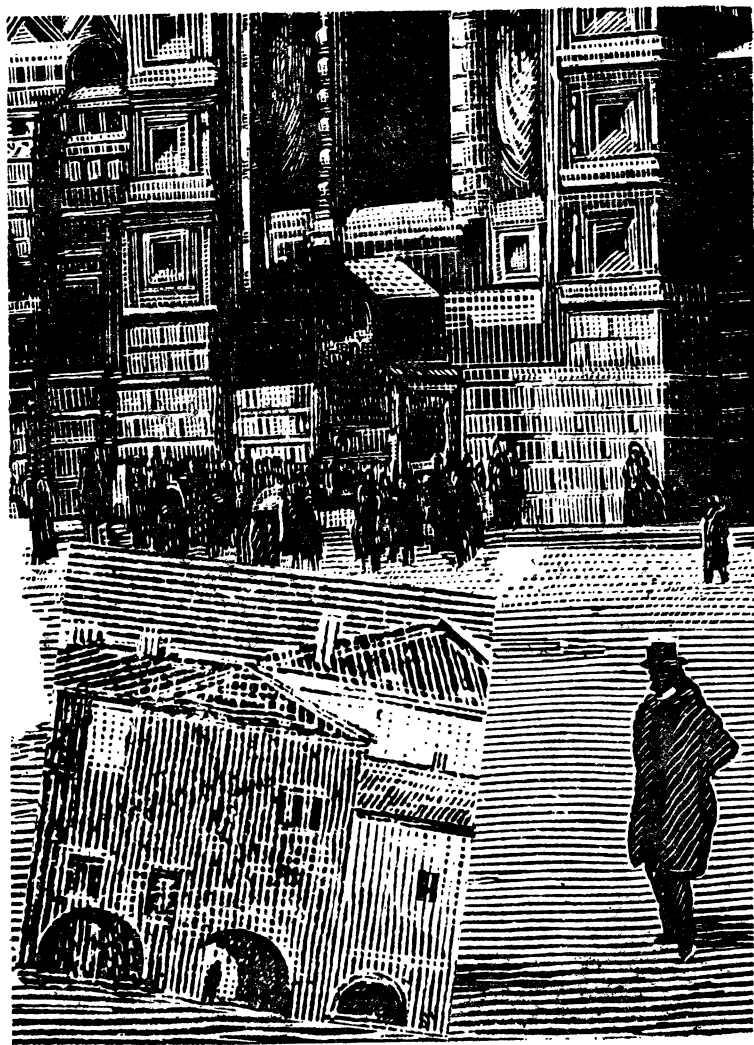
В 1828 году назначен был Иван Федорович Буш испытать в хирургии неведомых молодых людей, направляемых в Дерпт для подготовки к профессорскому званию. Среди прочих попался ему и вовсе мальчонка, семнадцати с половиной годов, только что окончивший курс в Московском университете. Иван Федорович скользнул взглядом по матрикулу с фамилией «Пирогов» и забыл ее тотчас. Юностью его тоже не разжалобишь: в такие же годы, семнадцати с небольшим, был отправлен Буш на действовавший против шведов флот, служил на 64-пушечном корабле «Мечеслав» и остался после свирепого сражения один с двумястами ранеными на борту. Иван Федорович, сидя в кресле неподвижно и строго, пытал неизвестного из разных частей науки, требуя ответа по совершенному плану — сначала общее положение, затем подробности, его развивающие и поясняющие, и, хотя слегка кивал, со-

глашаясь, но как бы сам того не замечая; лишь однажды, точно от быстрой боли, покривил тонкие губы, когда юноша невзначай обмолвился, вместо «epigastrica» сказал «hipogastrica».

И, кто знает, может быть, именно в это мгновение заглянул в комнату холеный, начинающий полнеть господин с гладким, несколько бледным лицом и холодными, чуть насмешливыми глазами — любимый ученик и сподвижник Буша, Илья Васильевич Буяльский. Заглянув, услышал «гипогастрику», увидел, как вспотел юнец, как щеки его пошли красными пятнами, коротко хохотнул и снова притворил дверь. Что ему перепуганный этот, потливый мальчик, когда на каждом шагу ждут его преважные дела? Не было тогда в России хирурга искуснее Буяльского, сочетавшего великое мастерство с обширной образованностью.

Как раз в том самом 1828 году вышли из печати составленные Ильей Васильевичем Буяльским «Анатомико-хирургические таблицы, объясняющие производство операций перевязывания больших артерий». Таких сочинений, чтобы и «анатомико» и «хирургические», прежде не бывало; и, наверно, в Москве, в путь собираясь, или здесь, в Петербурге, или в Дерпте, сразу по приезде, восхищался Николай Пирогов «Таблицами» Буяльского, глаз не мог от них отвести, любовно разглаживал ладонью листы, на которых в натуральную величину, в «средний рост взрослого человека», оттиснуты были иллюстрации. Мог ли он предположить, что через десять лет сам создаст нечто более значительное и станет притом опровергать эти самые «Таблицы», потрясшие не только его, лишь вступающего в науку, но и маститых ученых мужей?..

«Optime — превосходно», — заключил наконец Буш и легким взмахом руки отпустил испытуемого. И тут же забыл о нем, как два часа назад, взглянув в бумагу, забыл его ординарную фамилию: Пирогов.



Круг великих маэстро

Профессорских кандидатов посылали в Дерпт на два года, а продержали пять. Заграничная командировка, во время которой они должны были завершить образование, откладывалась: французская революция, восстание поляков — начальство не желало пускать будущих российских профессоров в крамольную Европу.

Когда Пирогов отправился наконец в Берлин учиться, прославленные хирурги, к которым он ехал с почти totalmente склоненной головой, читали его диссертацию, поспешно переведенную на немецкий.

Оказалось, он успел уже узнать и понять так много, что мог учиться не только соглашаясь, но отрицая.

Он восторгался неожиданными и смелыми операциями Диффенбаха. Хирург-поэт: виртуозная техника и огромный опыт позволяли ему импровизировать у операционного стола. Великий немец знал себе цену и не отказывал в удовольствии дразнить не ведавших вдохновения педагогов. «Истинный хирург знает и умеет то, о чем нигде не написано», — гордясь собой, повторял он тихим и слабым голосом, не идущим его сильной фигуре и четкому, будто изваянному, лицу с крупными чертами, высоким лбом и римским носом. Но он объявил «несуществующей» артерию, которую многожды препарировал и исследовал Пирогов, он по наитию прокладывал путь в сплетениях мышц и нервов, — наблюдая за ним, Пирогов думал об отчаянном и удачливом мореплавателе, отправляющемся в путь без карты и компаса в расчете на дерзость и удачу.

Его привлекал умелый и тщательный ювелир Грефе, неизменно затянутый в форменный мундир с эполетами, гладко, до блеска, причесанный, учтивый в каждом слове и каждом движении. Операция у Грефе шла четко и быстро, без шума, без суматохи, все инструменты наготове, ассистент назубок знает, что должен делать; но рядом

с маэстро во время операции стоял его приятель, профессор анатомии Шлемм, и предупреждал хирурга, если где-то рядом с разрезом должен был проходить сосуд или нерв.

Шлемму пришлось по душе Пирогов: ему нравилось, что молодой русский от операционного стола тотчас бежит к нему в анатомический театр. Шлемм вдобавок косил и гордился этим — говорил, что его взгляд сходится в нужной точке, как в фокусе; молодой русский доказал остроту своего взгляда, заметив на тончайшем препарате Шлемма один потаенный узелок.

Пирогов знал о прославленных немецких хирургах больше, чем они сами о себе знали. Они владовали в палатах и операционных комнатах, а он потом часами работал в мертвецкой — они туда ни ногой! — вникал в их ошибки и промахи.

Мертвецкая берлинской больницы была царством мадам Фогельзанг. Фамилия переводится: птичье пение; нечего сказать, подходящее название для низкого, хриплого голоса пожилой подвижной дамы с изрытым морщинами лицом, с волосами, похожими на паклю. Пирогов замер от удивления, когда увидел впервые, как она, стоя в клеенчатом фартуке и нарукавниках у обитого цинковым листом стола, с непринужденной ловкостью вскрывает один труп за другим, без умолку рассказывая при этом то ли окружающим, то ли самой себе обо всем, что видит, да с таким увлечением, будто видит впервые. Вскоре он убедился, что мадам Фогельзанг достигла совершенства в определении и разъяснении положения внутренних органов, главное же, в ней, в этой умелой старухе, пылала та же, что и в нем, неукротимая жажда познания. Она торжествовала, обнаружив истинную причину гибели больного, не замеченную оперировавшими его хирургами, она приглашала Пирогова посмотреть новый препарат, точно это был какой-нибудь необыкновенный бриллиант голубой или розовой воды, она являлась к нему за полночь или на рас-

свете, чтобы предупредить о вскрытии, которое обещало оказаться увлекательнейшим. Ах мадам Фогельзанг! Ее голос и в самом деле звучал для Пирогова пленительным птичьим пением. На старости лет, оглядываясь назад, Пирогов строго судил спутников своей жизни и хвалил немногих: мадам Фогельзанг он назвал дорогим для себя человеком.

Учителя, более других сочетавшего в себе все то, что искал в хирурге Пирогов, он нашел не в Берлине, а в Геттингене, в лице профессора Лангенбека. Геттингенский профессор учил его чистоте хирургических приемов. «Не жать, а тянуть, — приговаривал он. — Нож — это смычок в руке хирурга». Он учил его слышать цельную и завершенную мелодию операции. Он показывал Пирогову, как приспособлять движения ног и всего тела к действиям оперирующей руки. Он ненавидел медлительность и требовал быстрой и четкой — ритмической — работы. Сам он вылуцивал плечо из сустава за три минуты. Рассказывали, что заезжий английский хирург не поверил этому и явился на операцию с часами, — пока он устраивался, чтобы лучше видеть, и надевал очки, операция была закончена.

Чтобы действовать быстро, точно и успешно, Лангенбек призывал хирургов не чуждаться анатомии, — это Пирогов в нем особенно ценил. Объясняя, чем геттингенец отличался от других германских профессоров, Пирогов замечает, что он оперировал не просто «скоро», «ловко», «гладко», но еще и «научно». Тут для Пирогова весь корень дела.

Еще недавно «цех» хирургов стоял ближе к цеху цирюльников, нежели врачей. Предтечи Пирогова сделали хирургию медициной. Лучшие из его учителей и старших современников подвели под хирургию научную основу. Пирогов возвращался из заграничной командировки на родину с мыслью, что для хирургии приспела пора стать наукой.

Признание

Он возвращался *домой*, в Москву: на бумагу из министерства с вопросом, в каком университете желал бы получить кафедру, он, не раздумывая, отвечал — в московском, конечно. Он желал возвратиться на круги своя, взойти на подмостки своих учителей, вступить в госпитальные палаты, где прежде действовали они, — игра «в Мухина» продолжалась и завершалась.

Но в жизни Пирогова, как, впрочем, едва не во всякой жизни, много неожиданного, и нипочем не угадаешь заранее, что в ней к лучшему, а что к худшему; это «не было бы счастья» им на своей судьбе вдосталь проверено.

По дороге домой он тяжело заболел и был оставлен для лечения в Риге. Риге повезло: не заболеет Пирогов, она не стала бы площадкой его стремительного признания. Едва Пирогов слез с госпитальной койки, он взялся оперировать. До города и прежде доходили слухи о подающем великие надежды молодом хирурге. Теперь предстояло подтвердить бежавшую далеко впереди добрую славу.

Он начал с ринопластики: безносому цирюльнику выкроил новый нос. Потом он вспоминал, что это был лучший нос из всех изготовленных им в жизни. За пластической операцией последовали неизбежные литотамии, ампутации, удаления опухолей. Но и Пирогову повезло: здесь, на свободе, в стороне от кафедр и клиник вчерашних и завтрашних, он впервые оперировал как хозяин. Не было за спиной внимательных глаз Мойера, вдохновенного бормотания Диффенбаха, вежливых советов Грефе, решительных указаний Лангенбека, — все это было в нем, навсегда усвоенное, а вокруг жадные глаза зрителей, рижских врачей: им предстояло теперь перенимать и повторять. В Риге он впервые оперировал как учитель. Старый госпитальный ординатор, четверть века орудовавший скальпелем, сказал Пирогову:

— Вы нас научили тому, чего ни мы, ни наши учителя не знали.

Из Риги он героем направился в Дерпт — тут его победоносное шествие остановила весть, что начальство по неведомым причинам отдало московскую кафедру другому кандидату. Он страдал и гневался: разрушены его мечты, а он мечтал отблагодарить наконец старуху мать и сестер за их бесконечные жертвы для него, меньшенького, он мечтал — не знак благополучия, но образ, с детства зацепившийся в душе! — о карете четвернею, о корзине со снадобьями и бутылках со сладким чаем у ног кучера, о шорохе надежды и восхищения «Лекарь приехал!» — и плащ нетерпеливым движением плеч в услужливо подставленные руки. Но попробуй угадай, так ли он оказался несчастлив, как воображал, когда мечты рухнули. Другое дело, что обстоятельства оборачиваются удачей, когда человек ни на шаг не отступает от своего призвания, которое если не осознает, то чувствует, когда, по слову поэта, ни единой долькой не отступает от лица. Он страдал, гневался — и оперировал. Иван Филиппович Мойер с полным доверием передал ему свою клинику.

В Дерпте он начал с литотомии. Зрителей набралось изрядное число — известно было, что кандидат в профессора извлекает камни с изумительной быстротой. Многие тянули из кармана часы на золотой цепочке или черной шелковой ленте. Пирогов, подражая Грефе, приказал ассистенту держать инструменты между пальцами и в определенном порядке, по-лангенбековски устойчиво и удобно расположил ноги, добиваясь легкости и равновесия, и не столько наперед ее предположил, сколько прислушался к зазвучавшим в нем ритмам предстоящей операции, тряхнул, как Диффенбах (ему представлялось, что с той же величественной грацией), почти совсем оплешивевшей головой и протянул к ассистенту руку. Тотчас услышал, как щелкнули крышечки часов. Ему повезло, как с первым

рижским носом, он, наверно, ни разу не встречал больше такого превосходного камня: продолговатый и лежал так удачно, что тотчас попал между щечек щипцов.

— Две минуты!

— Меньше двух минут!

— Поразительно!..

А он продолжал поражать. В клинике, где Мойер дремал, пока Пирогов набирался ума по германским больницам, давно не видели серьезных операций, а таких, какие он теперь делал, возможно, вовсе не видели. Больные, самые чуткие ценители врачебного искусства, со всех сторон потянулись к чудесному оператору.

В доме Мойера все по-прежнему — и торт под пудрой, и душистый чай с разговорами, и Бетховен, и пульсирующий отблеск свечей на крышке фортепьяно, и красная вязаная скатерть, от которой тотчас, как войдешь в гостиную, на душе тепло и уют, но что-то временное стало чудиться в этой прежней незыблемости, что-то преходящее, — и свет в комнате сделался будто рассеянным, скользящим, и предметы в ней отчего-то потеряли величественность, и точно воину, из похода вернувшемуся на места своего детства, показались Пирогову меньше ростом и легковесней. Вот и теща профессора все чаще заговаривает о прелестях принадлежащего семейству орловского имения, и сам профессор не прочь порассуждать об удобной и доходной помещицкой жизни, и белоснежка Катенька, уже совсем барышня, выпирая острыми нежными плечиками из открытого платья, твердит об однообразности дерптского бытия, где всех развлечений — ученые беседы гостей да по праздникам наезды Василия Андреевича Жуковского. Пирогова у Мойеров по-прежнему привлекают, впрочем, наверно, не совсем по-прежнему. Хоть с годами на вид он мало переменился — так же неказист, невнимателен к одежде, прост и открыт в поведении, но ведь уже не гениальный мальчик, требующий опеки и наставлений, и прочить ему, нынешнему, великое будущее

все равно что жаловать куском пирога и тарелкой супа, — уже *единственный*.

Как все это непросто — побежденный учитель, победитель-ученик! Первый приезд Пирогова, необузданного в работе, полного замыслов, дерзко ищущего, оживил Мойера; второй умертвил, сделал ненужным. Кто бросил бы камень в Ивана Филипповича, если бы он, сочувствуя Пирогову, после всех благодеяний, ученику оказанных, сбыл его куда-нибудь в Харьков, где кафедра была свободна? Но Мойер размыслил иначе:

— Не хотите ли вы занять мою кафедру в Дерпте?

— Да как же это может быть? Это невозможно!

— Я хочу только знать, желаете ли вы?

— Что ж, коли кафедра в Москве для меня потеряна...

— Ну так и дело в шляпе. Сегодня же предложу вас факультету, а там извещу министра...

А может быть, ему все-таки повезло, что он начинал не в Москве, а в Дерпте? Ему, молодому и уже ушедшему далеко вперед, искавшему деятельности свободной и во многом необычной, жаждавшему научной и практической независимости? В Дерпте ему не пришлось с ненужными усилиями утверждать свои взгляды, свой труд, себя самого. Он начинал среди восхищенного внимания и радостных надежд — начинал признанный, единственный...

Из записей Пирогова: «Целое утро в госпиталях — операции и перевязки оперированных, — потом в покойничкой Обуховской больницы — изготовление препаратов для вечерних лекций. Лишь только темнело... бегу в трактир на углу Сенной и ем пироги с подливкой. Вечером, в 7 — опять в покойничкую и там до 9-ти; оттуда позовут куда-нибудь на чай, и там до 12-ти. Так изо дня в день».

Это не про Дерпт, это про Петербург, где он ждет, пока министр утвердит его на дерптскую кафедру. Но, по замечанию современника, путь Пирогова к кафедре лежал через анатомический театр, а не через заднее крыльцо министерских квартир.

Ему бы в Петербурге скромным гостем, а он и здесь поражает. Оперируя в госпиталях, творит чудеса, не отказываясь, по обыкновению блюдущих свою славу знаменитостей, от сомнительных и, казалось, безнадежных больных. О положении да о молве он думать не желает: если можно оперировать, он оперирует. Горящие глаза зрителей разжигают его решительность: чудеса легче творить, когда их ждут. Известнейшие петербургские хирурги — все господа в чинах генеральских — проведали, где он остановился, сам придворный медик Арендт не погнушался взойти по крутой, залитой помоями лестнице на третий этаж не слишком пристойного, где-то на задах Казанского собора, дома — завтрашний дерптский профессор снимал тут комнатку с тесной прихожей, — взобрался, задыхаясь, чтобы просить Пирогова прочитать для избранных столичных врачей курс лекций по хирургической анатомии.

— Что ж это такое за хирургическая анатомия? — спрашивал заслуженный профессор Медико-хирургической академии коллегу, встретясь с ним в тускло освещенной сальными свечами, низкой и тесной покойницкой Обуховской больницы.

— Никогда не слыхал, не знаю-с.

А он знал, не назначенный еще на должность профессор Пирогов Николай Иванович, двадцати пяти лет от роду. Лекции он подкреплял показом сразу на нескольких трупах. На одних можно было наблюдать положение органов в каждой области тела (с помощью заранее изготовленных препаратов он объяснял тут же строение этих органов), на других делал все операции, производящиеся в данной области. Он говорил этим светящимся эполетами старикам — все они казались ему тогда стариками! — которых одно имя его заставляло вползти под мрачные своды зловонной покойницкой:

— Все, что я утверждаю, основано на наблюдениях и опыте, а потому есть неоспоримый факт!



«Вот что я делал, что думал,
чем был!»

Пирогов спорит с Горацием

Римский поэт Гораций в стихотворном «Искусстве поэзии» советовал пишущим: «Лет на девять спрячь ты что написал: пока не издашь — переделывать ловко, а всенародно заявленных слов ничем не воротишь».

Гораций жил на свете восемнадцатью столетиями раньше дерптского профессора Пирогова.

Но Пирогову некогда, невозможно, немыслимо ждать девять лет, девять лет для него что восемнадцать столетий. Пирогов спорит с мудрым римлянином: есть труды, издание которых никак нельзя откладывать ни на девять лет, ни на девять дней; каждый день отсрочки, может быть, и приносит автору душевный покой, но остальным людям грозит неисчислимыми бедствиями.

Свой труд он назвал по-древнему величественно — «Анналами»: «Анналы хирургического отделения клиники императорского университета в Дерпте».

Пироговские «Анналы» — это собрание историй болезней, перемежаемых статьями-обобщениями, размышлениями, заметками, выводами. Но двести пятьдесят тщательно составленных и объясненных Пироговым историй болезней заслуживают торжественного древнего имени.

Не для красного словца, но по могучему велению сердца поставил он эпиграфом к своему труду несколько строк из «Исповеди» Жан-Жака Руссо: «Пусть труба страшного суда зазвучит, когда ей угодно, — я предстану пред высшим судьей, с этой книгой в руках. Я громко скажу: вот что я делал что думал, чем был!»

Нет, не красивые все это слова и про трубу, и про страшный суд, и в устах Пирогова слова эти звучат, право же, еще смелее, еще горячее, еще исповедальнее, чем в устах честнейшего Жан-Жака. Не о человеческих ошибках и промахах собирався откровенно поделиться с читателями дерптский профессор хирургии, но о врачебных.

Открытая исповедь — всегда мужество, в медицине стократ: врач, признающий ошибку, публично признается в убийстве или нанесении увечья. Недаром врачебные исповеди никогда не были в моде. Пирогов и сам бывал свидетелем тому, как больной, унесенный с операционного стола, где кричал и бился под ножом знаменитого маэстро, навсегда исчезал в мрачных, недоступных свету и чужому глазу коридорах госпиталей и клиник, а скольких Пирогов встречал потом в мертвецкой! Знаменитости подтасовывали факты, затемняли истину, опровергали обвинения и подыскивали оправдания. А ведь знаменитости были учителями и потому виноваты были дважды перед настоящим и перед будущим: они передавали свои ошибки ученикам.

«Видев все это, я положил себе за правило, при первом моем вступлении на кафедру, ничего не скрывать от моих учеников, и если не сейчас же, то потом, и немедленно, открывать перед ними сделанную мною ошибку, — будет ли она в диагнозе или в лечении болезни». Пи-

рогов начал с того, на что никто и никогда не решался!..

«В случае 20-м я совершил крупную ошибку в диагнозе...»

«Чистосердечно признаюсь, что в этом случае, я, может быть, слишком поторопился с операцией...»

«Я не заметил, что глубокая артерия бедра не была перевязана...»

«Я должен был быть менее тщеславным, и если я уже однажды совершил ошибку, решившись на операцию, то мог хотя бы спасти больному жизнь ценою жертвы конечности...»

«Больного, описанного в случае 16-м, я таким образом буквально погубил...»

Вот как он о себе пишет, молодой профессор, который должен, по обыкновенному понятию, печься о положении, авторитете, знаменитый хирург, который, по тому же понятию, должен славой нескончаемых удач упрочить свою непогрешимость. Но Пирогов не желает доброго имени, взросшего на лжи, славы, политой самовосхвалениями.

Ни на день не в силах отложить дерптский профессор Пирогов издание своего труда. Всенародно заявленных слов не воротить? Но он и не собирается ворочать их, как не раскаивается, что заявил всенародно! В медицине должны господствовать честность и доброжелательство. Ради этого, объявлял Пирогов, жертвует он собой, бросает вызов укоренившимся предрассудкам, ставит на карту свою репутацию. Только медицина, служители которой стремятся *быть*, а не *казаться*, будет шагать вперед и приносить благо людям. Двести пятьдесят историй болезни объединены в «Анналах» страстным желанием автора открыть себе и людям истину.

Да, так он делал, так думал, таким был, профессор Николай Иванович Пирогов!

На портрете, запечатлевшем его как раз в пору дерптской профессуры, Пирогов, пожалуй, способен вызвать

улыбку. Утиный нос, выпяченные губы, мечтательно поднятые к небу глаза, косину которых художник не захотел скрыть, хотя рисовал лицо почти в профиль, редкие волосики, зачесанные с затылка на виски, и гладкий, голый лоб. Но Пирогов считал, должно быть, портрет правдивым — какой есть! — он подарил его студентам с надписью: «Мое искреннейшее желание, чтобы мои ученики относились ко мне с критикой...»

Ход мысли

Движение его мысли можно сравнить с обвалом в горах: один сорвавшийся с места камень увлекает за собой гигантские пласты.

Одно из самых значительных сочинений Пирогова — законченная в Дерпте «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». В самом названии — и эти гигантские пласты — *хирургическая анатомия*, наука, которую с первых, юношеских своих трудов творил, воздвигал Пирогов, и единственный камешек, начавший движение громад — *фасции*.

Фасциями до Пирогова почти не занимались: знали, что есть такие волокнистые — фиброзные — пластинки, оболочки, окружающие группы мышц или отдельные мышцы, видели их, вскрывая трупы, натывались на них во время операций, рассекали ножом, не придавая им значения, — «анатомическая неизбежность»!

Пирогов начинает с очень скромной задачи: он берет-ся изучить направление фасциальных оболочек. Он, как всегда, дотошно тщателен: добираясь до мельчайших подробностей, он уже находит массу нового. Прежде было известно лишь общее расположение фасций — он описывает каждую из них со всеми ее перегородками, отростками, расщеплениями, точками соединений.

Для другого довольно. Но Пирогову мало! Он досконально исследует, сопоставляет свои наблюдения и на-

Ходит еще более важное новое: познав частное — ход каждой фасции, он идет к общему — выводит определенные закономерности положения фасций относительно близлежащих сосудов, мышц, нервов, открывает определенные анатомические закономерности.

Может быть, этого довольно? Для другого. Пирогову мало! Все, что он открыл, нужно ему не само по себе (хотя и само по себе это нужно и важно) — все это нужно ему, чтобы указать наилучшие способы производства операций, в первую очередь «найти правильный путь для перевязки той или иной артерии», как он говорит. Вот тут-то и начинается новая наука, созданная Пироговым, — хирургическая анатомия.

Зачем вообще хирургу анатомия, спрашивает он: только ли для того, чтобы знать строение человеческого тела? И отвечает: нет, не только! Хирург, объясняет Пирогов, должен заниматься анатомией не так, как анатом. Размышляя о строении человеческого тела, хирург ни на миг не может упускать из виду того, о чем анатом и не задумывается, — ориентиров, которые укажут ему путь при производстве операции.

Пирогов усиленно вводит в анатомию и хирургию понятие «топография». Путнику, на своих двоих пересекающему неведомое пространство, мало общих данных о рельефе местности, течении рек, расположении городов и селений. Ему подавай сведения о каждой рощице, каждом овражке, болотце. И того более — он хочет осведомиться о просеке в лесу, о тропке через болото, о самом малом мостке через речку. Карту, составленную анатомом, Пирогов сравнивает с географической, а карту, которую должен держать в уме хирург, с топографической. Вот за это смешение географии с топографией Пирогов перечеркивает теперь приводившие всех в восторг «Анатомико-хирургические таблицы» Буяльского: «Вы видите, например, что на одном из рисунков, изображающем перевязку подключичной артерии, автор удалил

ключицу: таким образом он лишил эту область главнейшей, естественной границы и совершенно запутал представление хирурга об относительном положении артерий и нервов к ключице, служащей главной, путеводной нитью при операции, и о расстоянии расположенных здесь частей друг от друга».

Анатомия для хирурга не одно познание, но руководство к движению: образ хирурга-путешественника, движущегося вдаль и вглубь по миру, именуемому телом человека, проходит через труды Пирогова.

Путешественник никогда не заплутается, двигаясь по точно проложенному маршруту, не упуская из глаз заранее намеченных ориентиров. Анатомия указывает местонахождение органов, мышц, сосудов, их расположение относительно друг друга, но это *общее* указание, а не ориентир для *каждой* операции. Всякий человек подобен другому — и отличен от него. Полагаясь на географу-анатома, стоявшего рядом, а о топографии и вовсе не помышляя, опытейший Грефе три четверти часа не мог отыскать плечевую артерию; Пирогов объясняет: «Операция оттого сделалась трудною, что Грефе попал не в артериальное влагалище, а в волокнистую сумку». Вот для того-то, чтобы не случалось такого, Пирогов и возился с фасциями, которые избрал вехами для хирурга. «Анатомическая неизбежность» обращена его мыслью в систему ориентиров на пути следования операционного ножа.

Всякую артерию, которую перевязывает хирург, Пирогов соотнес с ходом этих оболочек, пластинок, их направлением, протяженностью, соединениями, он и впрямь, как топограф, отмечает, где фасция раздваивается, где прикрепляется к кости или сливается с сухожилием, где углубляется, а где, наоборот, поворачивает кнаружи; острым своим взглядом схватывает он и предлагает хирургу в качестве точнейших указателей и вовсе мельчайшие подробности: отверстие для прохождения вены, белые полоски на фасции, уплотнение ее или, наоборот,

уточнение до прозрачности. «С какой точностью и простотою, как рационально и верно можно найти артерию, руководствуясь положением этих фиброзных пластинок! — радуется он за хирургию. — Каждым сечением скальпеля разрезается известный слой, и вся операция оканчивается в точно определенный промежуток времени».

Описание операций Пирогов снабдил рисунками. Ничего похожего на анатомические атласы и таблицы, которыми пользовались до него. Никаких скидок, никаких условностей — величайшая точность рисунков: пропорции не нарушены, сохранена и воспроизведена всякая веточка, всякий узелок, перемычка. Пирогов не без гордости предлагал терпеливым читателям проверить любую подробность рисунков в анатомическом театре. Он не знал еще, что впереди у него новые открытия, новая — высшая — точность...

А пока он отправляется во Францию, куда пятью годами прежде, после профессорского института, его не пожелало отпустить начальство, — отправляется в Париж ума-разума поднабраться. В парижских клиниках он схватывает кое-какие занятные частности и не находит ничего неведомого. Из своего сегодня он увидел там *допироговскую* хирургию и осознал, насколько ушел вперед. Это, кажется, главное, что он привез из Франции.

Любопытно: едва оказавшись в Париже, он поспешил к известному профессору хирургии и анатомии Вельпо и застал его за чтением «Хирургической анатомии артериальных стволов и фасций»...

Пирогов благодарит учителя

Из пироговских «Анналов» — описание ампутации ноги: «Были сделаны два боковых разреза, чтобы можно было отвернуть кожу. У границы отвернутой кожи мышцы перерезаны двумя сильными сечениями и кость пере-

пилена. Длительность операции — 1 минута 30 секунд... Во время операции и наложения повязки больной то и дело впадал в глубокий обморок, который преодолевался холодным опрыскиванием лица и груди, втиранием под носом нюхательной соли и небольшими дозами винного напитка... Больной просил соленого огурца и получил ломтик...»

«Анналы» дерптской хирургической клиники — рассказ о работе Пирогова-хирурга. Двести пятьдесят историй болезней показывают размах этой работы, а ведь эти двести пятьдесят — лишь известная часть того, что им сделано. В хирургической клинике Дерптского университета было всего двадцать две койки. За два года перед избранием Пирогова на кафедру здесь было произведено девяносто крупных операций. За первые два года своей работы Пирогов сделал триста двадцать шесть!

Из записей Пирогова:

«Вот я, наконец, профессор хирургии и теоретической, и оперативной, и клинической. Один, нет другого.

Это значило, что я один должен был: 1) держать клинику и поликлинику, по малой мере $2\frac{1}{2}$ — 3 часа в день; 2) читать полный курс теоретической хирургии — 1 час в день; 3) оперативную хирургию и упражнения на трупах — 1 час в день; 4) офтальмологию и глазную клинику — 1 час в день; итого — 6 часов в день.

Но шести часов почти никогда не хватало; клиника и поликлиника брали гораздо более времени, и приходилось 8 часов в день. Положив столько же часов на отдых, оставалось еще от суток 8 часов, и вот они-то, все эти 8 часов, и употреблялись на приготовления к лекциям, на эксперименты над животными, на анатомические исследования для задуманной мною монографии...»

На любовь времени не остается и — что еще важнее — места в сердце. Сердце он безраздельно отдал науке, а с любовью умничает. Тридцать лет, мол, не шутка,

много ли еще осталось, а он не изведal настоящей любви: пора, пора, одинокая старость не за горами! Иногда он пробует приглядеться к какой-нибудь из знакомых девиц, пробует представить себе ее в роли подруги жизни, но раздумывать о таком некогда: восемь часов в сутки — лекции и клиника, восемь — собственные занятия и опыты, восемь — отдых, вот в эти восемь, возвратясь уже почти без сил из лазарета или из морга, он начинает мечтать о дорогом друге, о женской ласке, о слиянии душ и понимании с полуслова. Но усталость берет свое, он забирается под одеяло и задувает свечу. В темноте пытается припомнить то или другое виденное где-либо девичье лицо, но тут, как назло, оттесняя прелестные образы, упрямо лезут в голову мысли о завтрашней операции; он засыпает, думая о некоторых неудобствах широкого листовидного ампутиационного ножа, с помощью которого мышцы рассекаются наклонно к кости.

...В феврале 1840 года он был приглашен для операции в Тульскую губернию, оттуда рукой подать до Орловской, где в своем имении коротал раннюю старость Мойер, — Пирогов решил навестить учителя.

Февраль стоял не солнечный, но теплый: воздух напоен был влагой, снег потемнел, набух, сквозь него проступили желтые пятна земли и навоза, санные колеи отливали сталью. Иван Филиппович в пятнистой телячьей дошке, в валеных сапогах, подшитых кожей, водил ученика на скотный двор, показывал четырех особенной породы коров, выписанных из Голландии, огромную свиноматку, лежавшую на боку в чисто прибранном загоне и похожую на чудовищную выброшенную на берег рыбу, показывал стоявшие под навесом машины для разбрасывания удобрений, для резки ботвы, также полученные из-за границы, говорил о видах на урожай, хлебных ценах, ярмарках, но синие его глаза за стеклышками оправленных серебряной проволочкой очков оставались тусклы и холодны, как взмокший снег под ногами. Вече-

ром пили чай в зале, подали на стол бисквит, такой же, что и прежде; Пирогов ковырнул свой кусок ложечкой, тотчас наткнулся на продолговатый боб; теща, Екатерина Афанасьевна, объяснила, что теперь они боб в пирог не запекают, нынче положили по старой памяти для него, для Николая Ивановича, и надо же, сразу ему и достался. Пирогов улыбнулся, покивал благодарно, отложил боб на край тарелки — он был занят разговором, увлеченно рассказывал учителю о придуманной им операции ахиллова сухожилия для лечения косолапости. Екатерина Афанасьевна отметила про себя, что сюртук на Пирогове добротный, темно-коричневый с бархатным воротом, манжеты, однако, по-прежнему обтрепаны и нечисты. Катенька, белоснежка, вышла к столу, кутаясь в серый пуховый платок, по-деревенски, как она объявила; Пирогов изумился — он все держал в памяти девочку, барышню с худыми плечиками, а Катенька хоть по-прежнему тонка в кости, однако и обликом и поведением уже совсем женщина (он прикинул в уме — двадцать годков, и, не сдержавшись, даже хмыкнул вслух). Катенька что-то спрашивала о дерптских подругах, о которых знала больше, чем он, переписываясь с ними, сказала о Москве, куда собираются на масленицу, о тамошних гуляньях и балах. Пирогов слушал ее с пятое на десятое, торопясь поведать Ивану Филипповичу о литотрипсии — камнедроблении, совершаемом прямо в пузыре и все чаще заменяющем теперь оперативное извлечение камней — литотомию. Иван Филиппович слушал внимательно, иногда переспрашивал, улыбнулся, когда Пирогов, схватив его за руку, показал, как хирург с ассистентом фиксируют введенный в пузырь инструмент, но глаза за стеклышками очков оставались холодны. Катенька скоро ушла к себе, сославшись на головную боль, — видно, плохо протопили печь, угорела. Музыка в тот вечер не было: фортепьяно незаметно притулилось в углу зала, обтянутое серым холщовым чехлом.

На обратном пути из Москвы Пирогов послал Мойерам письмо, в котором просил руки Екатерины Ивановны — Катеньки.

Поэт сказал, что слова «Я вас люблю» много сильнее, чем «Я вас очень люблю». Одно лишнее слово лишает признание мощной, убедительной искренности. В письме Пирогова сотни, тысячи лишних слов! И ведь понимал! «Фразы и чувства, — писал он, — две противные стихии», — и все лепил, лепил одна к одной фразы, топя в них чувства, в которые, впрочем, трудно поверить.

Какой невыносимый, выпреженный слог! Быть, а не казаться! Да в этом письме ничего не *есть*, все *кажется*! Ему кажется! Не лгал, конечно, надумал, намечтал любовь, будущее счастье в сладких дремах, укачанный удобным возком на гладкой зимней дороге. Ему казалось, любовь *была*, а она *казалась*. Даже для его века, когда каждый приказчик умел по заведенным образцам писать любовные письма, в пироговских фразах такой перебор, что читать их тяжело: «она или никто, теперь или никогда, — вот что говорит заветный голос сердца», или — «хладнокровные руки, проникавшие доселе с железом бестрепетно к сокровеннейшим источникам жизни, дрожат теперь от какого-то сокровенного чувства и скользят по бумаге, влекомые голосом сердца», или вместо Екатерины Ивановны — «милый Ангел» (с прописным А). Так ли он писал, когда истинно любил? В «Анналах Дерптской клиники», в «Хирургической анатомии» нет ни слова лишнего, тем более лишней фразы, — там только чувство! Все письмо его — с первой фразы — сплошное умствование: он рассуждает о тайной связи нашего душевного микрокосмоса и непознанных сил вселенной, «приводящих в движение мириады миров» — он и здесь про звезды! — о «переменах, которые за несколько часов, за несколько мгновений до их появления казались нам невозможными». Он рассматривает женитьбу на Екатерине Ивановне, «миллом Ангеле», как возможную награду за «самоотвержение, с которым посвятил са-

мые приятные мгновения жизни науке и человечеству». Он, кажется, полагал к тому же, что, женись на Катеньке, отблагодарит учителя за многое добро, как бы завершит отношения с ним и его семейством. В старости он над этим письмом посмеется — длинное, сентиментальное и довольно глупое; но, отправляя, он, похоже, гордился, что с такой подробностью изложил «ход своих идей об одной из важнейших проблем жизни». Он только ни разу не спросил в письме, любит ли его «милый Ангел». Правда, по словам его, *сейчас* он и не желал ее любви: она полюбит его после, когда поймет его направление в жизни и в науке. Впрочем, предложение было сделано по правилам того времени.

Письмо Пирогова, видимо, было для Мойеров точно гром среди ясного неба. И все-таки Иван Филиппович шесть дней не выходил из кабинета, обдумывал предложение великого ученика. Катенька сообщала потом знакомой, что провела «шесть ужасных дней»: Пирогов «всегда был ей безразличен». Она, пожалуй, кривит душой — Пирогов был ей неприятен; она объясняла, почти не шутя: «Жене Пирогова надо опасаться, что он будет делать эксперименты над нею» — и это больше, нежели безразличие. Жуковский, прослышав о событиях, послал сердечным друзьям паническое письмо: «Да, что это еще вы пишете мне о Пирогове? Шутка или нет? Надеюсь, что шутка. Неужели в самом деле возьметесь вы предлагать его? Он, может быть, и прекрасный человек и искусный оператор, но как жених он противен». Тут важное слово сказано.

Пирогов потому так легко решился на предложение, что полагал, будто он для Мойеров *свой*. Но *свой* — это совсем не то, что хороший человек и искусный оператор. И все-таки Иван Филиппович думал шесть дней, прежде чем ответил отказом. Для него в чем-то очень важном Пирогов был все-таки свой — ученик, наследник, будущее. Он-то понимал, что теряет: другой зять мог по мно-

гим статьям превосходить Пирогова, но Пирогов был *единственный*. Иван Филиппович отвечал Пирогову, что Катенька давно обещана другому и что он, Мойер, видит в этом другом опору его нынешней жизни и начинаниям.

Пирогов был взбешен отказом: ринулся с пылкими признаниями, с благодарностью дорогому учителю — и на тебе, от ворот поворот. И к тому же *другой*, и тот, другой, — *опора*, и еще, должно быть, вычитал, вычувствовал в глубинах, в закоулках Мойерова отказа, между строк ухватил вот это — *не свой*, эти манжеты, нечистые от операционных столов и анатомических. Отвечая на отказ, как он отчитывает Мойера, учителя, которого только что желал благодарить!

Не получалось у Пирогова с благодарностью тем, кто более других способствовал ему на жизненном поприще. И все же он благодарил их: они обретали вместе с ним вечную жизнь в памяти потомков. Он невзначай записывал их имена в историю.

Через год Пирогов откровенно признается, что в предложении Екатерине Ивановне Мойер сватовства и желания отблагодарить было больше, чем любви, забудет про высокопарное «теперь или никогда», предложит руку и сердце другой, а в старости припомнит не без злорадства, что Мойеровой дочке пришлось подбирать любезные выражения и поздравлять его избранницу, не побоявшуюся «мучителя дерптских собак и кошек». Но по свежему следу он негодовал, сгоряча рвал с теми, кто были ему друзья, кто принес ему в жизни добро, которого он не мог ждать и требовать, но не в силах были принести добро (полно, добро ли?), которого он от них потребовал и пожелал; он торопливо развязывался с придуманной впопыхах любовью, он спешил — судьба между тем, как всегда, когда он казался себе поверженным, готовила для него новую высоту.

Про белого коня

Через год он уже в Петербурге: профессор Медико-хирургической академии.

В столицу Российской империи он, что называется, на белом коне въезжал.

Для упрочения порядка и благонадежности академия незадолго перед тем была передана в военное ведомство; новые ее властители, государевы генерал-адъютанты и просто генералы, пожелали иметь на кафедре хирургии тридцатилетнего дерптского профессора, о котором общая молва, что *первый и единственный*; Пирогова позвали на кафедру, с которой уволен в отставку отслуживший положенный срок профессор — Иван Федорович Буш.

Его зовут, а он упирается: при кафедре нет клиники, а он не мыслит преподавания медицины без занятий у постели больного — двадцать две дерптские койки ему дороже чести восходить говоруном на академическую трибуну. Пирогов твердит генералам про *клиническое мышление* — умение точно определить болезнь, оценить состояние больного, выбрать лечение. Клиническому мышлению — способности подходить к фактам с теорией и одновременно обогащать теорию новыми фактами — невозможно обучить с трибуны: только в госпитальной палате врач убеждается, что одинаковая болезнь не означает одинаковых больных, что одинаковых больных вообще нет — есть люди, страдающие одной болезнью. Он твердит генерал-адъютантам про *госпитальную хирургию*, сочетающую изучение болезни с изучением больных; он предлагает передать хирургической кафедре академии расположенный поблизости военно-сухопутный госпиталь. Ему нестерпимо хочется заполучить эту громадную каменную казарму, набитую больными, как властителям академии хочется заполучить Пирогова. Предложение Пирогова принято, и он оставляет двадцать две дерптские

койки. Теперь у него в сто раз больше — две тысячи!

Он въезжает в столицу победителем на торжественном белом коне.

В аудиторию, где он читает курс хирургии, набивается человек триста, не менее: теснятся на скамьях не одни медики — послушать Пирогова являются студенты других учебных заведений, литераторы, чиновники, военные, художники, инженеры, даже дамы. О нем пишут газеты и журналы, сравнивают его лекции с концертами прославленной итальянки Анжелики Каталани — с божественным пением сравнивают его нецветистую речь о разрезах, швах, гнойных воспалениях и результатах вскрытий. Больные тянутся к нему толпой паломников, точно к чудодейственному образу. Кто знает, может быть, в иных семьях дети уже играют «в Пирогова»?..

Его назначают директором Инструментального завода — он соглашается. Он видел за границей тщательно подобранные хирургические наборы Грефе и Лангенбека: инструменты в наборах были сконструированы изобретательно, но эгоистично — это были инструменты только для Грефе и только для Лангенбека. Учителя были довольны, глядя, как он, Пирогов, действует их ножами, щипцами, пинцетами, но он-то понимал, что управился бы еще лучше, будь инструменты для него сподручнее. Теперь он придумывает инструменты, которыми любой хирург сделает операцию хорошо и быстро.

Его просят принять должность консультанта в одной больнице, в другой, в третьей — он соглашается: «Почитая первой и священной обязанностью посвящать мое искусство на службу страждущему человечеству, я готов употребить и остальное от других моих занятий время на исполнение предлагаемой мне должности консультанта по части оперативной хирургии при больницах: Градской, Обуховской и св. Марии Магдалины...» Обуховская больница — для чернорабочих, Мариинская — для неимущих, скоро к ним прибавятся еще Петропавловская и Детская

больницы, Максимилиановская лечебница — все заведения бедняцкие, убогие, про них говорили, что-де умер ли там больной от кровотечения, от чахотки, от гангрены, лишь бы умер; там всякое дело вдесятеро тяжелее, каждый шаг — самоотвержение и отчаяние: зачем ему? А он соглашается, «почитая первой и священной обязанностью...».

Да, это не Дерпт с двадцатью двумя кроватями: один час — лекция, один час — упражнения на трупах, полтора часа — поликлиника, и все под рукой. Он начинает затемно и кончает впотьмах, если ночи не белые. Кареты четверней он так и не завел — нанимает извозчика, торгуется немилосердно, концы далеки, а он к тому же торопит, чтоб ехать быстрее. Он спешит с одной стороны города на другую, с острова на остров; во время ледохода, когда по зимней реке уже не проехать, а понтонные мосты еще не наведены, он, спрямляя путь, пробирается с отчаянным перевозчиком на лодке между льдинами. Тяжелые глыбы наползают одна на другую, трещат, ломаясь, переворачиваются в воде, стучат, шаркают по бортам лодки, того гляди пробьют, раздавят, — зачем ему?..

Утренние его обходы в госпитале — что триумфальный марш или архиерейский выход: сам впереди, следом десять фельдшеров со свечами и полотенцами через плечо, врачи, студенты, служители. Шарканье ног по гулким коридорам отдается в чутких его ушах поступью наступающей армии, звяканье медных тазов и чайников для обмывания ран гудит колокольным звоном. Вот только сам архиерей сложением жидковат, а для триумфального марша шаг легкий и порывист.

Но вспомнишь ли о победном белом коне, шествуя долгим холодным коридором, отделенным от улицы дощатой стеной, зимой насквозь промерзшей, а летом отсыревшей? Вспомнишь ли о победах, согласишься ли в победы, вступая в душную, грязную палату — в каждой

шестьдесят, семьдесят, а то и сотня кроватей, почувствуешь ли себя триумфатором среди стонов и бреда, вдохнув воздух, налитанный запахом гноя, гнили, кислой пищи, отхожих мест?.. В первый день по вступлении в должность Пирогов увидел в госпитале молодых солдат-гвардейцев, которым гангрена разрушила всю брюшную стенку. Победителю далеко до победы...

Он, право, охотно отдал бы горячие овации трехсот прибежавших к нему на лекцию господ за горячий суп для трехсот больных — чтобы каждому полную тарелку; из газетных восхвалений и благодарностей шубу не сошьешь — спать бы взамен сотню-другую новых простынь и рубах — куда там! Госпитальные начальники крадут в открытую: казенные продукты везут к ним на дом подводами, больные голодают; от доброго винца, дюжинами бутылок взятого на казенные денежки, глаза блестят, краснеют щеки мерзавцев-начальников, больные лежат без питья, с пересохшими губами, сосут от жажды сухую ложку; казенные дрова сгорают в печах начальнических квартир, больных колотит от холода. Аптекари не золотниками — фунтами сбывают лекарство на сторону, больным и простейших средств не достается или достаются подделки — бычья желчь вместо хинина, прогорклое масло вместо рыбьего жира, разведенная зола вместо болеутоляющего. Госпитальные начальники выговаривают профессору Пирогову, что много лекарств тратит, предписывают бумагой «приостановить употребление» йодной настойки — слишком много издержал, пишут на него жалобы, что не в свои дела лезет: ему не мешают резать да шить, пусть и он не сует нос в суповые котлы, не приказывает служителям доставлять для отопления палат дрова со склада!

На белом коне восседая и снисходительно оглядывая окрестности, тут все проиграешь, тут надо пёхом да пóтом, надо драться в каждой траншее, на каждом повороте коридора, в каждой палате, у каждой койки. Вон и

Гоголь пишет, что в России всякое звание и место требуют богатырства, что слишком много любителей бросить бревно под ноги идущему человеку. Пирогову бросали под ноги бревна, когда он шел побеждать смерть.

Помешанный...

Как они его ненавидели!

Краденый кусок не лез в горло под острым пироговским взглядом, аппетит пропадал, и казенное полено, брошенное в печь, не грело зимним вечером, и червонец, честно заработанный на перепродаже аптечного снадобья, был не в радость, как вспомнишь бесконечные пироговские докладные, что йода нет, ляписа нет, нечем язвы прижигать (ему бы только язвы прижигать!). Не страшили эти докладные ни старшего госпитального доктора, ни складских, ни аптекарей — все крадут! Наверху преспокойно, не читая, складывали под сукно лист за листом, густо исписанные пироговскими ассистентами под диктовку разгневанного профессора, — никто его докладных не боялся, но почему не желает, *как все*, почему сам не живет спокойно и другим не дает, почему постоянно лезет, куда другие не лезут, почему вечно спешит и тянет других за собой!

Так возникло дело об умопомешательстве профессора Пирогова: старший госпитальный начальник обнаружил в действиях его безумие и донес о том генералу, властителю академии. Только ли клевета? Может быть, и в самом деле вечному лазаретному вору, холоднокровному убийце больных поврежденным в уме показался знаменитый профессор, которому бы тысячи грести на своей славе, а он упрямо старается пробить лбом стену, бескорыстно добивается лучшего, не тащит где плохо лежит? Врачи вокруг прячут концы в воду, твердят о «благоприятных исходах», а он и печатно и устно трубит на всех углах о своих ошибках и промахах — как неловко, как небла-

горазумно, *как безумно* подставляет он в своем величии уязвимые места под удары!

Чего он не умел — это быть благоразумным. Он мог предложить деньги больному где-нибудь на рынке или в уличной толпе, уговаривая того лечь в клинику, — он считал, что наблюдения над таким больным принесут пользу науке (о нем распускали слухи: «Ставит опыты над людьми!»). Он решал: «Оперировать!» — где другой, не о больном думая — о себе, перепуганно мямлил и юлил («Тщеславный себялюбец!» — с шипом и свистом пускал ему в спину благоразумный коллега). Он такие операции делал, о которых никто не смел и помышлять (припечатывали: «Безжалостный резун!»).

Так возникло дело о насильственной операции, какую будто бы намеревался учинить над больным профессор Пирогов (больного без ведома Пирогова выписали из госпиталя, а он, возмущившись начальственным самоуправством, приказал найти и вернуть обратно).

Помешанный, право, помешанный! Живет и действует, будто нет вокруг завистников, теряющих из-за него славу, и завистников, теряющих из-за него практику, и не завистников вовсе — просто добрых людей, которые одного желали: чтобы оставалось все по-старому, заведенному, понятному, и недобрых людей, которым он наступал на ноги со своей честностью, с этой своей первой и священной обязанностью служить страждущему человечеству.

Надо в самом деле лишиться рассудка, чтобы оперировать на щитовидной железе (вон ведь Французская академия — не глупей нашего! — запретила такие операции), — Пирогов впервые в России удалил зоб. Опять, конечно, завопили про безрассудство, в уме повреждение, про тщеславие и неоправданный риск — они одного не знали, осторожные и рассудочные господа, что операцию эту Пирогов разрабатывал еще в дерптском профессорском институте! Между замыслом и началом годы раздумий и

опытов, а они негодуют: опять Пирогов ни с того ни с сего полез с ножом в «запретную зону».

С того. С сего.

Он, не желает ампутировать стопу, как все, поровит прирастить часть пяточной кости к костям голени — зачем, помилуйте! А он мало что дает больному опору для ходьбы — доказывает саму возможность приживания костей: «Кусок одной кости, находясь в соединении с мягкими частями, прирастает к другой». Прежде знали — и он сам лучше всех — пластические операции на лице, он начинает будущую *костнопластическую* хирургию. Всякий хирург рискует, даже в сотый раз делая операцию, известную сто лет, — Пирогов слишком часто первый делал то, чего вообще до него не делали.

Так возникло дело о запрещении профессору Пирогову производить операции без разрешения госпитального начальства. Чем он мог отвечать на все эти бездельные «дела», состряпанные обвинения, клевету, наговоры? Поволчьи выть? Но он не был волком, а кем не был, тем не был, не умел быть; казаться! У него один ответ: он был *Пироговым*. Вся их ненависть к нему была страхом за себя, за теплое свое местечко, за завтрашний сытный харч, вся их вражда с ним была вместе пред властями трепетанье, жажда выслужиться, показать, с каким радением охраняют привычку жить по установленному обыку, он же, когда брали за горло, когда воздуха, чтобы вдохнуть, не хватало, швырял на зеленое сукно стола на усмотрение генерал-адъютантов и просто генералов, властителей Медико-хирургической академии, равно далеких от медицины, от хирургии, от того, что обозначается словом «академия», прошение об отставке — и побеждал: не принимали прошение, потому что он был Пирогов.

Он не опровергал слухов. Но у дверей «безжалостного резуна» длинные очереди; «тщеславный эгоист» видит во сне тяжелых больных и просыпается, дрожа от дурных предчувствий; «себялюбец» обрывает письмо к близкому

человеку, не в силах превозмочь скорбь: «Более писать не могу: на этой неделе я потерял нескольких больных совсем неожиданно».

Из прозрений

Больные военно-сухопутного госпиталя, как испокон повсюду было заведено, сами готовили перевязочный материал: день-деньской щипали корпию из грязного белья, из рваных подолов и рукавов надетых на них рубаш. Фельдшера перекладывали повязки и компрессы с гноящихся ран одного больного на раны другого. Служители с медными тазами обходили подряд десятки коек, не меняя губку, обтирали раны и язвы. Уже негодные к употреблению, пропитанные гноем и кровью тряпки складывали в ящики, стоявшие тут же в палате; после просушки тряпки снова употребляли в дело, даже продавали в другие больницы.

Госпитальная зараза уносила больных, сводила на нет работу хирургов, одним махом уничтожала результаты искуснейшего их труда. Появлялись в палатах страшные, роковые кровати: стоило одному больному умереть на такой кровати от послеоперационного заражения, и всякий, кого потом клали на нее, был заранее приговорен к смерти. Не заснешь, и во сне, увидишь, и письмо оборвешь на полуслове, припомнив десять крепких солдат, неожиданно умерших после обычного кровопускания. Пирогов объяснял: «Причину смерти должно искать не в операции, а в распространившейся с неожиданной силой госпитальной миазме».

Но спали и петербургские врачи, и парижские, и берлинские, спали, теряя больных от загноившейся раны, от болячки под ногтем, вообще ни от чего — не на ту кровать положили! Спали, зная, что на всех языках нарекли госпитали, лазареты, больницы «морильнями»: неизбежность не помеха сну.

Пирогов не желал мириться с неизбежным, хотел понять необъяснимое, рвался побороть неотвратимое, «не мечтать, а стараться проникнуть посредством наблюдения и опыта при постели больных сквозь этот таинственный мрак».

Лишь в 1867 году английский хирург Джозеф Листер обнародует истину, по нынешним представлениям, такую очевидную, что и предположить невозможно, как же это она прежде могла не быть известной: процессы гниения и разложения в ранах вызываются находящимися в воздухе микроорганизмами. С нее, с этой истины, и начнется в хирургии подлинная борьба с заражением — *антисептика*: карболовые растворы, распыляемые в помещении и над столом хирурга, обмывающие рану и операционное поле, пропитывающие послеоперационную повязку. Немного позже появится и поныне совершенствуемая *асептика* — предварительное обеззараживание: зараза не коснется раны, если руки оператора, инструменты, перевязочный материал приблизить к совершенной чистоте.

Истина, открытая Листером, застанет Пирогова уже стариком. Но Пирогов и его хирургия равно подводили итог хирургии допироговской и вписывали первые строки на страницы истории завтрашней медицины.

Пирогов в свое время уже размышлял о живых возбудителях и переносчиках заразы: миазма, говорил он (название «микроб» появится позже), «есть органическое, способное развиваться и возобновляться». Он даже советовал исследовать с помощью микроскопа чистоту перевязочного материала — вот на какую грань будущего выносило его прозрение. До признанных ныне средств борьбы с заражением ран еще десятилетия, а он уже говорил, что оно возможно через инструменты и руки хирурга, что зараза переносится с одной раны на другую. Вскоре после прихода в академию он отделил больных гнилокровием, рожей, гангреной от остальных и помес-

тил в особом деревянном флигеле. Он старался, чтобы врачи, фельдшера, служители гангренозного отделения не приближались к другим больным, пользовались собственными перевязочными средствами и собственными инструментами. Он запретил обтирать раны общими губками и приказал взамен поливать их из чайников. Как просто! А ведь и в Европе дошли до этой простоты лишь двадцатью годами позже. Он воевал с изготовлением корпии из грязной ветоши и самими больными. Он требовал от помощников поддержания невиданной до той поры чистоты и частого мытья рук. Но первое обвинение — по-пироговски! — самому себе: ведь и он, по восемь-девять часов не выбираясь из госпиталя, в одном и том же платье оперировал и перевязывал больных, вскрывал трупы. Когда домашние сказали ему, что манжеты его скюртука дурно пахнут (обоняние он имел плохое, должно быть, от постоянной работы в анатомическом театре), Пирогов горестно и беспощадно признал: «Я сам был переносчиком заразы!»

Где размышлением, где прозрением, где оцуюью, однако на размышление и прозрение опираясь, шел Пирогов к истине, которую предстояло обнаружить и утвердить будущему. Пока же в военно-сухопутном госпитале гангрена, рожа, гнилокровие и прочие «хирургические казни» (так он их называл), а с ними их неизбежная спутница — смерть, начали понемногу отступать.

Еще про любовь

На втором году петербургской жизни он тяжело заболел, отравленный госпитальными миазмами и дурным воздухом мертвецкой. Работал он тогда в старой госпитальной бане, за ветхостью преобразованной в морг. Трупы тесно складывали на трухлявом полке, на широких темных скамьях, прямо на полу. Он делал по двадцать вскрытий в день. Он задумал подготовить курс *приклад-*

ной анатомии: каждое изображение какого-либо органа или части тела рассматривалось с точки зрения физиологии, патологии и хирургии. Уже во время работы ему пришлось на ум составить также анатомический атлас для судебных медиков. Он выбирался из своей баньки с дрожью в руках и ногах, голова кружилась, и в глазах темнело. Наконец он так ослабел, что лег в постель и полтора месяца не мог подняться. Он жалел себя, растравлял душу горестными раздумьями о прожитых без любви годах и одинокой старости. «Зародилась в душе какая-то сладкая потребность семейной любви и семейного счастья», — припомнит он много лет спустя; и тут же с обычной откровенностью припомнит заодно, что тогда же, в дни болезни, у него впервые появился позыв к табаку — он вдруг начал курить сигары.

Он перебирал в памяти всех, кто мог бы принести ему семейную любовь и счастье, среди его знакомых не было молодых женщин, то есть были, конечно, какие-то дочери или сестры сослуживцев, он встречал их, изредка выбираясь в гости, иных помнил в лицо, но ни об одной ровным счетом ничего не знал. За ученой беседой никогда не хватало времени поговорить с ними, продолжить знакомство, на балах он не бывал, танцы с отроческих лет приводили его в ярость, посещать театр тоже было недосуг, а в театре анатомическом невесты не подберешь. Оказалось, что ближе всех знакомы ему несколько барышень, которых встречал он в Дерпте у Мойеров. Самой подходящей из них показалась ему подруга Катеньки Мойер и ее тезка Екатерина Дмитриевна Березина, девушка из родовитой, но развалившейся и сильно обедневшей семьи. В Дерпте Пирогов знал Екатерину Дмитриевну маленькой девочкой, позже, после долгих лет перерыва, несколько раз встречал в Петербурге. Встречи случайные, кратковременные — она скоро была увезена в деревню. Ничего не значащие встречи не свидания: не было ни слов, лишь им двоим понятных, ни особенных взглядов,

ни тех, по слову поэта, «нечаянностей впопыхах», от которых замирание сердца. Раскланиваясь с барышней Березиной или у ее маменьки справляясь о здоровье, профессор Пирогов и не предполагал, что когда-нибудь сделает предложение. Теперь он вспоминал ее молчаливость, приветливую покорность во всем ее облике, ее живой румянец и спокойные серые глаза, несуетность ее движений. Он думал также, что жизнь девушки на выданье в неустроенном, разоряющемся семействе вряд ли может быть легка, что замужество для нее благодеяние — в этом тоже была привлекательность. Не без труда удалось ему выяснить, где, ничего не подозревая, обитает та, которую он назначил себе в невесты. Ехать с визитом в деревню, вести загодя разговоры было некогда. Но, может быть, не решился. Он, как и в первый раз, послал предложение письмом.

Какая огромная потребность любви, какая способность любить в нем жила! Он только не знал (и, кажется, не узнает никогда), что чувству порой надо дать раздолье, что не следует стеснять его размышлениями, сдвигать в сторону даже великими делами; он редко допускал, чтобы чувство его целиком захватило. Но как он страстен! Едва сделал выбор, он уже видел *в ней* избранницу, чуть ли не свыше ниспосланную, судьбу, ему дарованную, он уже всем существом *к ней* стремился: получи он отказ, его горю не было бы предела. Ему ответили согласием.

Первое свидание с невестой произошло в придорожной корчме: родители Екатерины Дмитриевны жили врозь, каждый у себя в деревне, корчма стояла на середине пути. Хозяин усадил знатных гостей за особый стол в углу у окна, отгороженный от остальной залы цветастой ситцевой занавеской. Они ничего не заказали, даже шампанского, хозяин по собственному почину принес им небольшой медный самовар, фарфоровый заварной чайник с нарисованной большой розой на боку и пожелтевшим, будто обкуренным, носиком, колотый сахар на блюде и

баранки. Во все время свидания Екатерина Дмитриевна сидела потупясь, не снимая атласного серого капора, сильно затемнявшего ее лицо, не сбросив запылившуюся от езды в открытом шарабане по проселочной дороге серую в крупную клетку пелерину, хотя время было летнее, жара, и в корчме, где хозяин не отворял окон, опасаясь нашествия мух, было вовсе жарко и душно. О любви разговора не было, читали опись приданого, определяли, как устроится жизнь семейства до свадьбы и после нее. Лишь однажды, когда отец и мать невесты зло заспорили по какому-то пункту, Пирогов вдруг спросил, по собственной ли охоте идет за него Екатерина Дмитриевна; она быстро взглянула на него из-под капора и снова опустила глаза; ему почудилось, будто волна шумно набежала на берег и откатилась обратно. К чаю и баранкам не притронулись, но, когда поднялись уходить, Пирогов, поискав в бумажнике, положил на стол три рубля; сдачи не спросил, хотя обыкновенно спрашивал.

Он выбрал ее, повидался с ней мельком и снова распрощался: пока уладит дела, он отправил невесту с ее матерью на месяц к морю, в Ревель. Пирогов потом вспоминал: «Этот месяц разлуки был для меня тем замечательным, что я в первый раз в жизни почувствовал грусть о жизни. Это сделала любовь. Захотелось, чтобы любовь была вечна — так она была сладка. Умереть в то время, когда любишь, и умереть навеки, безвозвратно, мне показалось тогда в первый раз в жизни чем-то необыкновенно страшным». Какое серьезное признание!

Знакомые толковали ему про найм квартиры, обои и меблировку, про кухарку и горничную, он согласно кивал, просил помочь, мысли его не тем были заняты: он сочинял адресованное к невесте письмо-трактат. Он спешил без обидчиков рассказать ей о себе: «Вот каков я был, вот что я делал, вот как я мыслил!» Странно: при его любознательности, при постоянном его стремлении к уяснению истины он словно бы и не задавался целью понять —

а она-то какова, что делала, о чем думала. Он объяснял ей, как устроить будущее счастье: «Супружеское счастье человека образованного и с чувством тогда только может быть совершенно, когда жена вполне разгадает и поймет его», — он писал о *своем* семейном счастье, искренно веря, что, коли он будет счастлив, ее счастье само собой приложится. Странно: он все умел схватывать с разных и противоположных точек зрения, а тут в голову не пришло, что для настоящего-то счастья и ему нужно понимать и разгадывать. «*Наука* составляла с самых юных лет идеал мой; истина, составляющая основу науки, соделалась высокою целию, к достижению которой я стремился беспрестанно...» — его избранница должна стать поверенной этих высоких дум и дел. Странно: в науке своей, идя к цели, он малой клеточки не оставлял без внимания, а тут будто и не заметил, что у нее могут, должны быть свои дела и думы. Всего же удивительнее, что длинные наиздания сочиняются в пору этой сладкой, первой в жизни любви. Ведь о том, что любил, что в тот месяц впервые пожелал бессмертия, и не что другое — эту любовь боялся со смертью потерять, он сорок лет спустя, стариком вспомнит, когда над многим, что думал, делал и пережил, смеялся и посмеивался. И как по-своему замечательно, что стариковские его записки обрываются — смертью оборваны! — именно на этом месте, на строке о жажде бессмертия ради вечной любви!..

Но после торопливого, непышного венчания, в первые недели вдвоем он беспокоен и раздражителен. Он признавался с пугающей откровенностью: «Вообще все, что выводит меня из обыкновенного круга моих занятий, действует на меня не совсем благоприятно». Это про медовый месяц.

Ему было некогда — великие дела ждали его. Где ему разгадывать молчаливую, несуетно приветливую Екатерину Дмитриевну! Он быстро и уверенно помогал ей строить семейное счастье по его плану. Он попросту запер ее в

четырех стенах нанятой и по советам знакомых, обставленной квартиры: в театр не возил, потому что допоздна пропадал в театре анатомическом, на балы с ней не ездил, потому что балы безделье, да и одна мысль, что жена пойдет выделывать ногами, его ужасала, отбирал у нее романы и подсовывал ей взамен ученые журналы, потому что это поможет ей понять его направление, он ревниво отстранял ее от подруг, потому что она должна была всецело принадлежать ему, как он всецело принадлежит науке. Он хотел один заменить ей все: дело, думы, людей. А женщине, наверно, было слишком много и слишком мало одного великого Пирогова.

Екатерина Дмитриевна умерла на четвертом году супружества, оставив Пирогову двух сыновей: второй стоил ей жизни. Она умерла в январе — еще не успели убрать елку, устроенную для старшего мальчика: темное пахучее дерево стояло посреди гостиной, окутанное серебряной бахромой, огоньки свечей вздрагивали медными грошиками.

Из рапорта профессора Пирогова: «Расстроенное мое здоровье, требующее по крайней мере полугодичного спокойствия и перемены места, заставляет меня переменить весь род моей службы...»

Но в тяжкие для него дни горя и отчаяния высочайше утвержден его проект Анатомического института. «В вечерние часы, — вспоминал современник, — вся эта огромная комната, переполненная трупами во всех положениях и видах, окруженными массами студентов, одетых в черные клеенчатые фартуки, при тусклом освещении и копоти масляных ламп, окутанная облаками табачного дыма, производила странное впечатление, напоминая собою скорее картину пещеры из дантовского ада, чем место для научных исследований». Но это было место для научных исследований — первый в мире Анатомический институт! И когда Пирогов, ко всем должностям которого прибавилась еще одна, тоже, кажется, прежде неслыхан-

ная — «директор анатомических работ», когда Пирогов входил в эту адскую пещеру, он чувствовал, как горе понемногу отлетает, и боль в душе унимается, и где-то в самом уголке ее тихо оживают надежды.

Страница истории

Чудо произошло в американском городе Бостоне 16 октября 1846 года. Хирург Джон Уоррен удалил пациенту опухоль на шее без боли. Ему помогал зубной техник Уильям Мортон. Перед операцией он приладил к лицу больного неуклюжую маску и, стараясь не торопиться, подливал в соединенный с нею трубочками сосуд прозрачную жидкость из бутылки. Руки у Мортоня дрожали, жидкость плескала мимо, по комнате расползлся пронзительный тяжелый запах. Через несколько минут Мортон сказал, обращаясь к хирургу: «Приступайте, мистер Уоррен. Ваш пациент уже далеко!» Бывалый Уоррен взглянул на него едва не с испугом. Пациент на столе спал. Хирург взял нож и помедлил делать первый разрез: ему было не по себе от бесчувственной неподвижности больного. Он вдруг почувствовал, что ему трудно преодолеть себя, что он не умеет оперировать, не слыша воплей и стонов, не видя перед собой искаженного болью лица, умоляющих глаз. Наверно, прав умный француз Вельпо, когда говорит, что операция без боли — химера, что режущий инструмент и боль — понятия извечно неразделимые. Уоррен внимательно осмотрел ремни и полотенца, которыми были связаны руки и ноги больного. Он поднес нож к телу больного, почти уверенный, что еще мгновение, и больной, конечно же, откроет глаза, заорет благим матом, дернется, стараясь порвать путы, и все будет просто и легко, как всегда. Но больной спал. Уоррен работал в непривычной, напряженной тишине. Ему казалось, что это он спит: впервые в жизни он не спешил, движения его были замедленны, как бывают в воде

или во сне. Среди молчания он завершил операцию, отложил, стараясь не звякнуть, инструменты и растерянно повернулся к зрителям: «Джентльмены, это не обман!..»

Наверно, одним из первых помыслов человека было стремление победить боль. Дошли до нас упоминания о волшебных порошках из крокодиловой кожи — их в далекой древности умели готовить египтяне. В одиннадцатой песне «Илиады» Гомер рассказывает, как, вырезая стрелу, глубоко засевшую в теле героя, присыпали рану горьким истертым корнем, «который ему совершенно боль утолил». Греки и римляне готовили болеутоляющие снадобья из растения, именуемого мандрагорой; об этих снадобьях свидетельствует римский историк Плиний: «Пьют при укусах змей, а также перед разрезами и проколами, чтобы не чувствовать боли». В старинном русском лечебнике говорится: «Дают коренья мандрагорово болящему пити или ясти у коих распаляется огонь палящий и они от того толь крепко спят, что не чуют, егда лекарь у них уды отрезывает или отсекает». Уды на старом русском языке — члены, части тела. Искали растения, сильно дурманившие или вызывающие глубокий сон, учились особенным образом сдавливать сосуды и нервы, умели снимать боль заговорами, клали на больное место лед...

Из пироговских «Анналов» дерптской клиники описание способа обезболивания: «Больному сделали сильное кровопускание, и он был посажен в теплую ванну на несколько часов. Затем он получал время от времени водку... после чего оказался совершенно пьяным и расслабленным».

На пороге века, в 1800 году, англичанин Хэмфри Дэви, известнейший физик и химик, обнаружил, что вдыхание закиси азота вызывает опьянение и невосприимчивость к боли. В юности он был учеником хирурга, но — удивительно! — ничего не предпринял, чтобы применить

открытие в медицине: наверно, был слишком сосредоточен на другом — у него свой путь в науке. Спустя восемнадцать лет Майкл Фарадей, ученик Дэви, не менее знаменитый, чем учитель, выяснил, что столь же блаженное состояние, как и закись азота, вызывают пары серного эфира; не в пример учителю, он даже работу об этом напечатал, но теперь медики прошли мимо: слишком привычно было сочетание ножа и боли, о котором говорил Вельпо, слишком глубоко сидело убеждение, что безболезненная операция — химера, не более. А ведь учитель и ученик, Дэви и Фарадей, — тоже примечательно! — открыли *разные* способы обезболивания, закись азота («веселящий газ») и эфир, и оба способа потом долго и хорошо служили медицине.

Какое горестное недоразумение, какое ужасное заблуждение: чудесные средства могли тысячам страдальцев принести избавление от мук, а они на десятилетия стали потехой! К бутылкам с эфиром смеху ради прикладывались студенты-химики: то-то забава, когда кто-нибудь хватал лишку, ходил качаясь и нес ахинею! «Веселящий газ», не нашедший места в операционных, обрел убежище в палатках бродячих артистов и фокусников — с его помощью удавались поистине головокружительные аттракционы.

В балагане странствующего проповедника с действием закиси азота познакомился американский зубной врач Горасий Уэллс. Он был решителен в мыслях и поступках: на другой день он надышался «веселящего газа» и попросил приятеля, тоже дантиста, удалить ему зуб. Боли не было. Это произошло в 1844 году в городке Хартфорде. «В зубо врачебном деле настает новая эра!» — вскричал сияющий Уэллс, вытирая платком кровь с губы. Он не понял, что стоит на пороге новой эры в медицине. Понял Джон Уоррен, бостонский хирург. Он предоставил решительному дантисту свою клинику для публичного опыта. Счастливый. Уэллс, предвкушая быструю славу, с

достойной улыбкой раскланивался со зрителями. Но случилось непредвиденное: едва он принялся тащить зуб, усыпленный пациент закричал. Слава обернулась хохотом и шиканьем. Рассерженный Уоррен показал самодовольному дантисту на дверь. Уэллс не отступался — ведь за его спиной был один, самый первый, но самый верный опыт — на себе. Он и после публичной неудачи продолжал пробы, но в чем-то ошибался: успеха больше не было. Отчаявшись, Уэллс покончил с собой.

Трагическая судьба: он шел правильным путем и впрямь мог получить титул первооткрывателя наркоза, а его прогоняли от дверей больниц и зубоврачебных кабинетов, над ним смеялись, ему не верили, его убили. Закись азота еще придет в хирургию — позже, в шестидесятые годы XIX столетия; пока она отброшена с пути — неудачи Уэллса подрывали доверие к «веселящему газу», победное шествие эфира и хлороформа довершило дело.

Веселые студенты нюхали эфир и хохотали, это продолжалось, наверно, четверть века, должен же был, наконец, найтись один весельчак подальновиднее! Доктор Чарлз Джексон, врач и химик, один из первых осознал, что пары эфира — великое благо *для медицины*. Обезболивающее их действие он проверил на себе и, полный надежд, искал случая вручить людям свое открытие. Нежданно появился у него ученик, зубной техник Уильям Мортон, смиренно просил доктора Джексона преподать ему азы медицинской науки. Джексон щедро делился с учеником всем, что знал сам, да и работа в две головы и две пары рук лучше спорилась. Ученик оказался на редкость способный: всякую мысль ловил с полуслова, дома, но уже втайне от наставника, он повторял опыты и придумывал новые; осенью 1846 года, после особенно успешного опыта на себе, Мортон предложил свои услуги бостонскому хирургу Джону Уоррену.

16 октября ловкий зубной техник усыпил для Уоррена первого пациента с опухолью на шее. «Джентльмены,

это не обман!..» — произнес, закончив операцию, изумленный Уоррен. «Обман!» — проведая об операции, возопил оскорбленный в доверии, ограбленный Чарлз Джексон, врач и химик. Ведь это он, он первый подумал, что место эфира в операционной, первый — и, может быть, рискуя жизнью, — усыплял себя, и вот теперь обманщик Мортон в черной сверкающей двуколке разъезжает по Бостону и — что твой модный певец — то и дело снимает шляпу, раскланиваясь в обе стороны, а он, Чарлз Джексон, никому не ведомый, остался со своими склянками и трубками, которым теперь место в выгребной яме. Джексон решил бороться: он объявил миру, что Мортон — вор, укравший у него первенство. Тяжба длилась два десятилетия. В операционных всего мира наркоз избавлял людей от страданий, ученые искали и находили новые способы обезболивания, а два первооткрывателя беспощадно мучили друг друга, приносили друг другу нестерпимую боль. Их судьба не менее трагична, чем судьба неудачника Уэллса. И не потому только, что Джексон умер в сумасшедшем доме, а Мортон голодным, оборванным нищим на нью-йоркской улице: страшнее, наверно, что они умерли при жизни, они тоже покончили с собой как врачи, как ученые-исследователи, как люди с собственным достоинством. Человечество благословляло эфирный наркоз, а первооткрыватели утверждали себя в памяти человечества самовлюбленными спорщиками, озлобленными сутягами, неудачливыми дельцами.

Пирогов писал: «В науке процветают эгоизм и тщеславие... Приоритет открытия теперь считается в медицинском мире чуть ли не более существенным, чем само открытие».

Ему вторил, уже применительно к наркозу, соотечественник Мортон и Джексона, американец Робертсон: «Многие пионеры обезболивания были посредственностями. В результате случайности местонахождения, случайных сведений или других случайных обстоятельств они

приложили руку к этому открытию. Их ссоры и мелкая зависть оставили неприятный след в науке. Но имеются и фигуры более крупного масштаба, которые участвовали в этом открытии, и среди них наиболее крупным, как человека и как ученого, скорее всего надо считать Пирогова».

Американец Робертсон ставит Пирогова в ряд с первооткрывателями. Мало подать мысль, сделать первую пробу. Надо полной мерой обратить открытие на благо людям, поставить новорожденного на ноги, утвердить на земле, научить ходить и указать дорогу.

После первого испытания, после 16 октября 1846 года, эфирный наркоз быстро зашагал по белу свету. В начале следующего, 1847 года его уже применяли лучшие хирурги Франции, Германии, Англии. В России первую операцию под наркозом сделал 7 февраля 1847 года товарищ Пирогова по профессорскому институту Федор Иванович Иноземцев — он возглавлял кафедру хирургии Московского университета, ту самую, которую мечтал когда-то получить Пирогов.

Пирогов опаздывает на неделю

А он медлит. Он сам позже признается, что поначалу неохотно приступал к операциям под наркозом. Так привычно сопровождать всякое деяние Пирогова определением «первый», но вот вдруг не первый, и признается к тому же, что дал себя обогнать. Разве он позже остальных узнал о появлении наркоза? Разве мог он — *Пирогов* — не понять, что в хирургии произошло чудо? Но вот же — медлил, неохотно приступал... Каков лихой «резун»! И какое подтверждение тому, что пироговское бесстрашие непременно обдуманый замысел и точный расчет. Он никогда не бьется за первенство, но почти всегда бывает первым в научном обосновании нового и обоснованном приложении его к делу.

Он оттуда и отсюда присматривается к чудесному открытию, он не позволяет себе поверить восторгам и сомнениям коллег, он задает себе десятки вопросов и сам должен ответить на них. Как действуют пары эфира на организм? Зависит ли успешное применение наркоза от техники обезболивания? Нужны ли изменения в конструкции приборов для «эфирования»? Какова степень обезболивания? У всех ли оно одинаково? Долго ли оно продолжается? Что изменяется в операции, когда больной перестает по-своему в ней участвовать?

Он чувствует в самом себе некоторые нравственные предубеждения: «Делать операцию над человеком, находящимся в бесчувственном состоянии, есть не такая-то приятная обязанность для хирурга, особенно когда он уже успел твердой волей, рассудком и привычкой уничтожить в себе восприимчивость к неприятным впечатлениям, причиняемым криками и воплями больных». Он должен победить в себе привычку, личность хирурга донаркозной поры, стать, *быть* хирургом наступающей новой эпохи, прежде чем браться за нож.

В своем Анатомическом институте он проводит серию опытов, обдумывает первые наблюдения, делает первые выводы.

Федор Иванович Иноземцев в Москве после удачной операции 7 февраля 1847 года тут же проводит вторую, третью — Пирогов еще медлит. Первую операцию с применением обезболивания он сделал на неделю позже, чем Иноземцев, — 14 февраля 1847 года. Но камень сорвался с места, и следом тотчас неостановимое движение лавин. «Я уверился, — писал он, — что эфирный пар есть действительно великое средство, которое в известном отношении может дать совершенно новое направление всей хирургии».

В Парижской академии докладывали о пяти операциях с применением эфирного наркоза. В Англии появилась печатная работа об опытах на пяти собаках и одной ло-

шади. Иноземцев с февраля по ноябрь 1847 года сделал под наркозом восемнадцать операций. Пирогов уже к маю 1847 года получил результаты пятидесяти операций, сорока опытов усыпления здоровых людей и шестидесяти опытов над животными. За год в тринадцати городах России было совершено шестьсот девяносто операций под наркозом. Триста из них пироговские!

Он мог, оказывается, «опоздать» на неделю и все-таки стать первым, уйти вперед, вести современников за собой.

Кавказская хирургия

Нет, не завести ему кареты четверней... Пока он придирчиво осматривает сибирский тарантас, сооружение на вид неказистое — окованный листовым железом кузов, укрепленный на длинных жердях из рябинового дерева, упругие жерди служат вместо рессор, скрадывают толчки и сообщают качке равномерность. Дорога долгая и трудная, с каретой, пожалуй, наберешься хлопот, а тарантас неказист, зато надежен. И вместителен. Бывалые люди объяснили, что ехать в тарантасе спокойней всего лежа: погружены в кузов ящики с инструментами и лекарствами, на свободное место подстелены бурки, легли и тронулись в путь. В громыхавшем по камню проспектов тарантасе, от которого испуганно шарахались щегольские коляски, барские экипажи и пролетки извозчиков, растянувшись на бурке, выехал из столичного Санкт-Петербурга на Кавказ всемирно известный профессор Николай Иванович Пирогов с одним ассистентом и фельдшером.

Ехали по мощенному щебенкой шоссе и по разбитым проселкам — после дождя низкие колеса тарантаса увязали в колеях по ступицу; ехали необозримыми полями, среди высоких некошенных трав, голова кружилась от воздуха, напоенного запахом шалфея и дикой лаванды; еха-

ли степью под выжженным добела небом — на целые версты вокруг ни клочка тени, кроме меняющейся в очертаниях темной полосы, бегущей за их тарантасом с утра по правую руку, а после полудня по левую; переправлялись вброд через желтые равнинные реки, потом настала очередь мутных горных потоков; дорога все круче забирала вверх, все чаще поднимались над ней серые выветренные стены скал; со дна ущелья, где бился о камни пенистый ручей, небо плыло над головой медленной светлой рекой, в нем черной черточкой почти неподвижно парил орел. Наконец в одной из крепостей пришлось оставить любезный тарантас и двигаться уже верхом по горным тропам.

Не отдыхать прибыл на Кавказ профессор Пирогов, и не праздные его пожитки везли за ним в мешках и ящиках вьючные лошади. Лавина его мыслей и трудов, обрушенная первым сдвинувшимся с места камешком, мчалась, нарастая: «Уже тотчас при введении эфирования в хирургическую практику казалось очевидным, что нравственное его влияние на страждущее человечество там преимущественно необходимо, где стекаются в одно и то же время тысячи раненых, жертвовавших собой для общего блага».

Нигде не было обезболивание таким нужным, долгожданным и благодетельным, как на войне; и нигде нельзя было испытать действие эфирных паров в таком размахе. На Кавказе, то разгораясь, то затихая, шла давняя война с горцами. И Пирогов отправился на эту первую свою войну.

Пока другие хирурги в клиниках, лазаретах, госпиталях ждали больных, чтобы с наибольшим успехом проверить новое средство и выказать свое искусство, он отправился в громадный госпиталь под кавказским небом, где тысячи больных ждали его самого, его искусства, чуда, которое он вез в своих мешках и ящиках.

Он поспел к долгой, затянувшейся почти на два ме-



сяца осаде аула Салты. Аул стоял поперек ущелья, как бы втиснутый в него. Тыловая часть селения уступами карабкалась вверх, справа аул защищало от нападения озеро, слева — глубокий ров. Пришлось скрытно вести подкоп, закладывать мины. Пока тянулись саперные работы, что ни день затевались перестрелки, русские отряды отражали вылазки горцев или сами шли на приступ, надеясь ускорить дело. Наконец подкоп был окончен, войска расставлены в готовности, саперный командир поднял белый флажок, означавший, что гальванический аппарат, предназначенный для подрыва мин, сейчас даст ток, в то же мгновение над передней стеной аула поднялся будто извергнутый вулканом столб камней, пепла, пыли и дыма, раздался грохот, столб рассыпался, селение затянулось черным облаком, когда облако рассеялось, перед осаждающими открылся в стене огромный пролом, и передовой отряд под градом пуль из окон-бойниц ворвался на улицу селения, бросая на ходу гранаты внутрь саклей и во дворы. Пирогов уже знал, что плотные медные пули горских винтовок вызывают сильное раздробление костей, что глубокие раны от удара горских шашек плохо рубцуются. Поступят в лазарет и метальщики гранат с оторванной кистью правой руки — нужно поспеть в считанные секунды высечь огонь, запалить фитиль и бросить гранату, иной, глядишь, и замешкается в суматохе уличного боя, когда мечутся перед глазами свои и чужие.

Едва отгремели последние выстрелы решающего штурма, помчались в Санкт-Петербург курьеры, генералы начали прославлять взятие Салтов как замечательную победу своей стратегии и тактики. Но не генералам — Пирогову обязан славой аул. При осаде Салтов был впервые в истории войн и медицины применен наркоз на поле сражения.

Пироговский лазарет размещался в шалахах. Солнце дымными лучами пробивалось сквозь сплетенные из ветвей стены, сверкающими осколками рассыпалось по ка-

менному полу. Раненых укладывали на каменные скамьи, покрытые хрусткими кукурузными стеблями и длинными сухими листьями, похожими на поржавевшие клинки. Шалаши были низкие. Пирогов оперировал, стоя на коленях. Во время долгой операции ему казалось, что он больше не сумеет разогнуть спину, колени болели как раздробленные. После штурма он оперировал и перевязывал раненых с семи утра до часу ночи несколько суток подряд. Ночью за плетеными стенами серебрилось залитое лунным светом небо. Пирогов думал, что здешнее украшение — чернь по серебру — появилось, наверно, оттого, что люди по ночам смотрели на небо сквозь ветви деревьев. Когда темно, он работал почти на ощупь: боялся подносить близко к раненому свечу, чтобы не воспламенились эфирные пары. В ночной тишине слышно было, как перекликаются далекие часовые, как ветер путается в цепком кустарнике, как гортанно кричит неведомая птица.

Тишина. Молчащая операционная волновала не меньше, чем вид спящего, не чувствующего боли раненого. А ведь и герой Багратион страшился войти в лазаретную палатку; в армии надолго зажились оброненные им слова, что легче быть шесть часов в бою, чем шесть минут на перевязочном пункте. С перевязочных пунктов уходил ужас. Пирогов разрешал солдатам, раненым, ожидавшим своей очереди, и просто случайным зрителям наблюдать за операциями: «Нужно было сначала убедить солдата на опыте в благотельном действии анестезирования». Пусть по всему театру войны разносится молва о чудесных «замирательных каплях» — так окрестили наркоз солдаты. Как добрый волшебник доставал Пирогов из привезенных с собой ящичков бутылки с эфиром и приборы, раздавал военным врачам. Вот почему, с трудом выискав свободное местечко, жался он в тарантасе, не желая расстаться ни с чем из драгоценного груза, вот почему мучился с целым обозом вьючных лошадей на горных дорогах, беспрестанно слезал с седла, оглядывал, ощупывал каждую штуку по-

клажи. В «Отчете о путешествии по Кавказу», который он начал составлять еще в дороге, Пирогов писал о «трудности транспорта такого материала, как эфир: летучего и легко воспламеняющегося во время летних жаров, в местах, где нет других дорог, как для пешеходов и верховых лошадей».

Из «Отчета»: «Отныне эфирный прибор будет составлять, точно так же как хирургический нож, необходимую принадлежность каждого врача во время его действий на бранном поле».

Кавказская хирургия. «Отчет»

На обратном пути Пирогов дал большой крюк — отправился через Дербент и Баку на Тифлис, оттуда по Военно-Грузинской дороге во Владикавказ, оттуда в Ставрополь, Тамань, далее на пароходе в Керчь, пересек Крым и прибыл в Одессу.

В «Отчете» о кавказском путешествии он расскажет о садах миндальных деревьев в окрестностях Дербента, о караванах верблюдов, встреченных в пустыне, о «нефтяных жилах» Баку и храме огнепоклонников, о виноградниках Кахетии, тифлисских банях, о снежных завалах на Военно-Грузинской дороге и о степном пожаре на Кубани: «Осенью зажигают степной ковыль на степях, пламя, разносимое ветром на необозримое пространство, представляет бурное море, и колыхание его огненных волн освещает мерцающим заревом горизонт степи».

Но и обратный путь не рассеяние, не приятный досуг после двух месяцев тяжелого труда, не увеселительная поездка любознательного путешественника. Он оперировал в Дербенте: «Из операций, которые мы произвели здесь, замечательны особенно два выпиливания головки плечевой кости с пулями, засевшими в существе самой кости»; оперировал в Баку; в Тифлисе удалил ребенку опасную опухоль на голове; во Владикавказе сделал

затруднительную операцию «вырезывания зоба». Он оперировал всюду, где являлась возможность, в городах больших и малых, в военных госпиталях и перевязочных пунктах, встреченных на пути. Он спешил одарить человечество чудом обезболивания и попутно одаривал его своим чудесным искусством.

Пирогов еще путешествовал по югу России, когда в далеком шотландском городе Эдинбурге акушер Джеймс Симпсон применил в качестве обезболивающего средства другое вещество — хлороформ. В ноябре 1847 года он доложил о своем открытии. Против Симпсона, который использовал хлороформ для обезболивания родов, вдруг подняли голос отцы церкви. Они ссылались на Библию, где сказано: в болезни будет Ева рождать детей. Но эдинбургский акушер оказался находчив. В ответ он тоже сослался на Библию: там описана первая в истории мира хирургическая операция — творец, прежде чем вырезать у Адама ребро, чтобы создать Еву, погрузил Адама в глубокий сон. Хлороформ зашагал по свету еще решительнее эфира: сон от него наступал скорее и был глубже, применение же нового наркоза оказалось проще — не требовалось никакого прибора, платок, смоченный в хлороформе, заменял маску. Русские хирурги начали оперировать с хлороформом всего через месяц после доклада Симпсона. В конце декабря 1847 года, на обратном пути с Кавказа, новое средство испытал Пирогов. Размах опять-таки пироговский: в течение первого же года триста операций под хлороформом; за пять лет — две с половиной тысячи!

Но кавказская хирургия не только наркоз. Это и «сберегательное лечение». По канонам тогдашней военной медицины, загноившаяся пулевая рана, повреждение кости, сложный перелом — все неизбежно означало ампутацию. А Пирогов восстал: он хотел бороться до последнего, чтобы сохранить, сберечь раненому руку или ногу. Смелый хирург, он находил с некоторых пор, что

коллеги слишком поспешно хватаются за нож и пилу. Он думал также об увечных мужиках, которые расползаются по родным деревням, непригодные к крестьянскому труду; его воображение мучили воспоминания о бесчисленных нищих, встреченных на церковных папертях или у ворот постоялых дворов, — инвалиды на деревяшках или с заткнутым за пояс рукавом побитой непогодой шинелишки.

Но ведь и прежние хирурги не прихоти ради отрезали руки и ноги: отнимая конечность, они оставляли раненому жизнь. Мало трубить о поспешных ампутациях, надо предложить что-то взамен. Пирогов придумал расчленение ран: расширял входное и выходное отверстия огнестрельной раны, чтобы «доставить свободный выход скопившемуся в глубине гною, излившейся крови и омертвевшей клетчатке»; первичную обработку ран Пирогов считал главным условием их счастливого лечения. Он применил при переломах неподвижную крахмальную повязку (гипсовая — теперь такая «обыкновенная» — у Пирогова и у человечества еще впереди!): покой спасает конечность; чтобы проверить, как действует крахмальная повязка, Пирогов после многочасовых операций сопровождал обозы, вывозившие раненых от места боя по тряским горным тропам. Вместо ампутации всей конечности Пирогов предложил удалять лишь поврежденную часть кости или сустав; торжество его сберегательного лечения — гравер, которому он удалил локтевой сустав, мог по-прежнему работать резцом.

Кавказская хирургия Пирогова положила начало новой военно-полевой медицине. Старик Ларрей вспоминал с гордостью, что после Бородинской битвы сделал за сутки двести ампутаций. Пирогов спорил — и не на словах, на деле являл свою правоту: там ампутируй, где нет средств *сберечь*. Во вдумчивой тишине пироговского шалаша закончился век шумных «летучих повозок», амбулансов со скорыми на руку пассажирами-хирургами...

В городах, которые проезжал Пирогов, его встречали как героя. И не в том дело, что прославленный профессор снялся с места и по собственной охоте отправился на трудную войну, чтобы облегчить участь сотен раненых. Вернее, не в одном этом. Каждый шаг Пирогова на избранном поприще выводил медицину из госпитальных палат, из ученых кабинетов, из-под сводов мертвецких на свет, делал все в ней происходящее достоянием гласности, делал медицину как бы наукой общественной. Даже осмысляя и обнародуя специальные данные, Пирогов непременно связывал медицину с жизнью, с нравственными задачами человечества.

«Отчет о путешествии по Кавказу» не приправленное видовыми картинками описание операций, не просто рассказ хирурга о применении наркоза на поле сражения, о «сберегательном лечении»: военная медицина Пирогова — исследование войны и медицины, медицины на войне, выполненное не менее, чем с научной, с *нравственной* точки зрения, в каждой строке этого отчета глубокое живое чувство, каждое слово обращено к людям вообще, неспециалистам, к человечности людей. Отступлений не по существу почти и нет вовсе, речь идет о врачебной практике и наблюдениях, подтверждаются данные медицинской науки, но стоящие за строкой раздумья автора о человечестве, о медицине, о войне и «обстоятельствах, неразлучных с войною», чувства, этими раздумьями вызванные, или, может быть, вызывающие эти раздумья, в каждом слове, в каждом описании, даже совершенно ученом, передаются читателю, тревожат его, вызывают ответные мысли и чувства. «От сердца к сердцу», как говорили в пироговское время.

Журнал «Отечественные записки» восторженно представлял читателям пироговский «Отчет» — книгу, которая «при специальности содержания» увлекает ум и за-

ставляет любить науку. Журнал «Современник», издаваемый Некрасовым, советовал всем «от доски до доски» прочитать труд *гениального профессора*.

...В длительном и нелегком путешествии костюм профессора Пирогова, и без того не очень-то следившего за собственной наружностью, вовсе пообтрепался. Проезжая на обратном пути Москву, маститый хирург несколько удивил тамошний ученый мир непонятным одеянием, лишь отдаленно напоминавшим потертый сюртук, и перевязанными бечевками ботами на собачьем меху. В Петербурге он наскоро переделся и поспешил докладывать военному министру о замечательных и многообещающих итогах кавказской экспедиции.

Он докладывал:

— Россия, опередив Европу, показывает всему просвещенному миру не только возможность в приложении, но неоспоримо благодетельное действие эфирования над ранеными на поле самой битвы...

Военный министр, князь Александр Иванович Чернышев, слушал насупясь, хмуро взглядывал на стоявшего перед ним профессора хирургии. Отпустил без слова одобрения, без благодарности, коротким кивком. На завтра Пирогова вызвал попечитель Медико-хирургической академии, генерал-адъютант, от имени министра сделал резкий выговор за нерадение к установленной форме. Подумать только: Пирогов не в том мундире на доклад явился!

Пирогов решил было опять подать в отставку, да не пугать их на этот раз — в самом деле уйти, именно сейчас, на вершине славы, когда, кажется, нужен так, как никогда прежде не был нужен; горячо, почти не отрывая пера от бумаги, накатал прошение, поразмыслил и порвал намелко. Да *кто* им нужен, правителям и властителям, *какая* слава им дорога! Он вспомнил о больных: они смотрели на него с надеждой, они ждали его в сухопутном госпитале, и в Градской больнице, и в Обуховской,

и в Детской, и в Мариинской для бедных, и на кавказских перевязочных пунктах — по всей России они ждали его, некогда ему было сидеть в отставке!

Про поэзию

Лермонтовский Печорин писал о своем друге, докторе Вернере: «Он скептик и матерьялист, как почти все модики, и вместе с этим и поэт, и не на шутку, — поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов».

Пирогов написал за свою жизнь вдвое больше — четыре стихотворения, писал, что называется, «для домашнего употребления» и преуспел: ни одно из его стихотворений не осталось и легкой тенью в истории отечественной словесности, все они подробность биографии Николая Ивановича Пирогова, и незначительная.

Но поэт не всегда человек, пишущий стихи; подчас и человек, пишущий стихи, не поэт. Поэт — категория нравственная, склад личности. И в этом смысле труды Пирогова всегда полнятся поэзией на деле, а часто и на словах, — поэзией привлекают, волнуют, поражают они читателей.

Пирогов был убежден, что книга, и самая специальная, непременно должна «просвещать и облагораживать чувства и нравы». Всякий, даже узконаучный вопрос в размышлениях и под пером Пирогова поворачивался на пользу просвещения, оказывался средством облагораживания чувств и нравов, во всяком вопросе, над которым он бился, всего дороже для него не просто решение научной задачи, а благо, которое он принесет людям. В этой неутолимой жажде служения человечеству сколько поэзии на деле!

Истинный поэт, он не терпит замкнутости — в нем живет постоянная потребность общения с миром. Он три-

бун, он постоянно хочет поведать миру нечто; труды, которые он печатает, для него много больше, нежели возможность рассказать о своих исследованиях, опыт ученого неразделимо сплавлен в них с жизненным опытом, опытом духовным и памятью сердца. Это «вот что я делал, что думал, чем был!» в каждом труде Пирогова так или иначе необходимо присутствует. Слово для Пирогова не просто способ изложить, прикрепить к листу бумаги и тем запечатлеть навсегда некоторые сведения, слово для него — горячее стремление к самовыражению, без которого нет поэзии, к искреннейшей поэтической исповеди, такой горячей, точно и впрямь в следующее мгновение зазвучит над ним труба страшного суда. «Не одна внешняя правда, а раскрытие правды внутренней перед самим собой» — так определяет он смысл и назначение слова, и с ней, с этой правдой внутренней, бесстрашное и беспощадное обнародование перед всем миром самого себя; в пироговских трудах поистине пылает «Прометеев огонь лирики»...

«Не в предмете таится дело поэзии, — писал русский поэт Фет, — а в отношении, в подходе поэта к самому делу». Истинный поэт видит поэзию там, где для другого ее в помине нет; он находит образ, слово — и «непоэтическое» под его взглядом, в его слове становится поэзией; в истории человечества единственные настоящие алхимики — поэты: они превращают «неблагородный металл» в золото...

Подумать только, о чем он пишет — об отнятии конечности, о лечении гнойной язвы, о вскрытии холерного больного, но что же представляется его воображению: из-под пера его появляются ворсинки слизистой оболочки, похожие на «отцветшие головки одуванчиков», и «островки» ткани, омываемые жидкостью не какого иного — «шафранового» цвета, он ощущает, как кровь в прижатом сосуде «протекает под пальцем с жужжанием», слышит «шум кузнечных мехов в области сердца», него-

дует, встретив «упорство свищей»; он докладывает об основах пластической хирургии: «Как скоро вы привели этот лоскут в плотное соприкосновение с окровавленными краями кожи, жизнь его изменяется; он, подобно растению, пересаженному на чужую почву, вместе с новыми питательными соками получает и новые свойства. Он, как чужеродное растение, начинает жить на счет другого, на котором прозябает; он, как новопривитая ветка, требует, чтобы его холили и тщательно сберегали, пока он не породнится с тем местом, которое хирург назначает ему на всегдашнее пребывание...»

Когда Пирогов писал об искусстве медика, он имел в виду не одно искусство-умение: он призывал относиться к медицине как к *искусству*.

«Нам нужно идти по пути единения искусства и науки... — напишет сто лет спустя другой ученый-поэт, академик Ферсман. — Нет границ между истинной наукой и творческими исканиями художника. И надо пытаться в одних и тех же словах и тех же образах слить переживания ученого и творческие порывы писателя».

Пути к истине

Из записок Пирогова: «Все прекрасное и высокое в нашей жизни, науке и искусстве создано умом с помощью фантазии, и многое — фантазией при помощи ума».

И еще: «Ум, употребив опыт и наблюдение, т. е. направив и заставив действовать известным образом наши чувства, потом рассматривает с разных сторон, связывает и дает новое направление собранным чувствами впечатлениям, и всегда не иначе, как с участием фантазии».

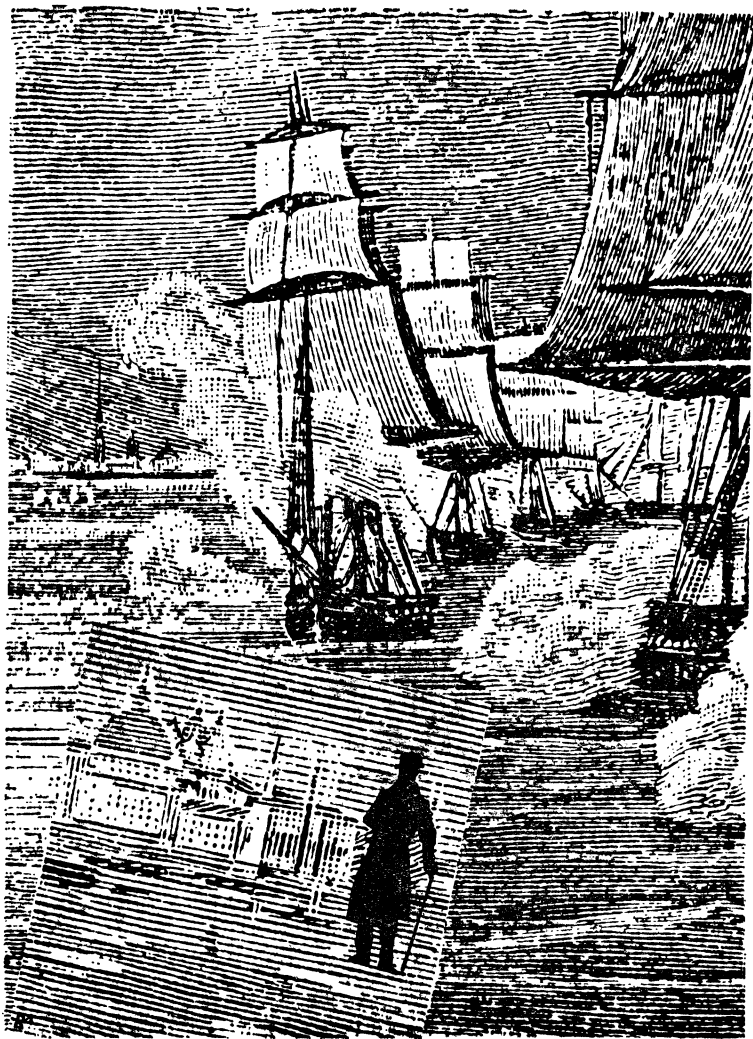
Пирогов спорит с теми, кто ставит ученым фантазию в упрек, кто требует от них рабской приверженности чувственному опыту, факту. Пирогов ни на шаг не отступит от факта, но факт, утверждает он, еще не истина. Солнце

что ни день восходит и заходит, совершив свой путь по небу, но означает это как раз, что Земля вертится вокруг Солнца. Факты — кирпичи, из которых создается истина. Но, смиренно укладывая кирпич на кирпич, возведешь не более как стену, которая заслонит солнце и небо. Чтобы из тех же кирпичей построить башню, замок, храм или мост, нужно прежде воздвигнуть их в своем воображении, выметать их. Ни Коперник, ни Ньютон не совершили бы своих великих открытий без участия фантазии, говорит Пирогов: «Ничто великое в мире не обходилось без содействия фантазии».

Сколько легенд об открытиях, начавшихся со случайного впечатления! Человек увидел, как упало яблоко... Как парит в небе коршун... Как паук перебросил нить паутины через садовую аллею... Но случайное впечатление, которое и самому творцу нового часто представляется решающим, всего лишь искра — подчас удар молнии! — воспламенившая собранный горючий материал. Это впечатление, эта искра пускает в ход фантазию, а та, по слову Пирогова, связывает собранные чувствами факты и дает им новое направление. Фантазия помогает сопрягать далекие на первый взгляд друг от друга понятия; но ученый обычно сосредоточен в поисках — фантазия помогает ему заставить разнообразное служить одному главному.

Пирогов рассказывает, как «в первый раз увидел у одного скульптора действие гипсового раствора на полотне»: «Я догадался, что это можно применить в хирургии и тотчас же наложил бинты и полоски холста, намоченные этим раствором, на сложный перелом голени».

Пирогов, уж на что аналитик, и беспощадный, и то запомнил искру, ослепительную молнию, а про склад горючего, про запас, собиравшийся годами, умолчал. Как глаза, ослепленные яркой вспышкой, с трудом различают потом обыкновенно освещенные предметы, так



ослепительное впечатление затемняет в памяти остальные.

Сообщая по горячим следам об изобретении гипсовой повязки, Пирогов пишет, что предложил способ, «употребляемый лепщиками и скульпторами». Тут же сноска: «В первый раз я узнал об этом способе от нашего известного скульптора г. Степанова. В мастерской его я научился также и другим приемам при употреблении алебаstra, которые оказались полезными в приложении к нашей повязке». Скульптор и художник-карикатурист Николай Александрович Степанов — добрый знакомый Пирогова; хирург не раз бывал в его мастерской.

«Узнал об этом способе», «научился приемам», «оказались полезными в приложении к нашей повязке» — это совсем не то, что «в первый раз увидел», «догадался» и «тотчас наложил бинты на сложный перелом».

Позади у Пирогова примененная на Кавказе для сберегательного лечения крахмальная повязка, в которой он находил существеннейшие недостатки: ее наложение продолжительно и хлопотливо, для варки крахмала нужно иметь под руками горячую воду, что в боевых условиях весьма затруднительно, крахмал долго не засыхает и засыхает неравномерно, давит на опухшие части, крахмальная повязка размокает от дождя и сырости, размягчается от гноя и жидкостей, употребляемых для обработки ран, в ней сложно делать «окна» для наблюдения за поврежденным местом. Мог ли Пирогов не размышлять над устранением этих недостатков? Но однажды он видит в мастерской скульптора белые, окаменевшие от гипса тряпки, и фантазия тотчас дает его раздумьям новое направление, сопрягает мастерскую скульптора с госпитальной операционной и полевым перевязочным пунктом; фантазия подсказывает ищущему уму путь от крахмала к гипсу...

Еще случайное впечатление, еще молния, озарившая воображение. «Мы, люди обыкновенные, — рассказывает

современник великого хирурга, — проходим без внимания мимо того предмета, который в голове гениального человека рождает творческую мысль; так и Николай Иванович, проезжая по Сенной площади, где зимою были обыкновенно расставлены рассеченные поперек замороженные свиные туши, обратил на них особое внимание и стал применять замеченное к делу».

Здесь все верно: действительно, гениальные люди, и Пирогов тоже, нередко начинают творить там, где люди обыкновенные, ничего интересного не замечая, проходят мимо, и действительно есть связь между распиленными тушами на Сенной площади и новым направлением в анатомии, изумительным по силе и дерзости фантазии. Но «рождает» ли? Словно бы, кроме этой внезапно вспыхнувшей творческой мысли, и не было прежде вокруг никаких раздумий... А были!

Чтобы узнать, как расположены различные части тела, анатомы вскрывали полости, но при этом разрушали ткани; воздух, врываясь во вскрытые полости, искажал положение органов, их форму. А для Пирогова всего важней как раз *топография* — наиточнейшее указание формы и размещения каждого органа, каждой части тела, их соотношений. Пирогов хотел, чтобы человеческое тело стало для хирурга как бы прозрачным: хирург должен мысленно видеть все, что окажется под лезвием его ножа на каждом миллиметре тела, захваченном вширь и вглубь. «Анатомо-хирургический рисунок должен служить для хирурга тем, чем карта-путеводитель служит путешествующему», — провозглашал Пирогов, но поди создай такой рисунок, когда расположение частей и их соотношения, искаженные уже при вскрытии полостей, окончательно изменились под ножом анатома. В науке такое бывает: сам опыт мешает получить точные результаты, ради которых он проводится.

Мог ли Пирогов не думать, напряженно, мучительно, о новых путях анатомических исследований?

Он думал. Еще дерптским профессором, будучи в Париже, он доказал французским ученым правильность своих анатомических наблюдений на замороженных трупах, где положение органов изменено меньше, чем обычно.

Смелость фантазии, конечно, от гениальности, но нельзя отбросить и кропотливую деятельность ума. Воображение, не основанное на знании и не подкрепленное им, обычно пустое мечтание. Пирогов недаром говорит, что фантазия содействует уму, ведет ум за собой. Одно к одному подбирались наблюдения, ставились опыты, делались выводы, ум упрямо бился над поисками единственно правильного пути. Факты с готовностью ждали прозрения, чтобы обратиться в истину.

И все же — какой полет фантазии!

Пирогов называл это «ледяной анатомией».

Он держал труп два-три дня на холоде и доводил «до плотности твердого дерева». А тогда он «мог и обходиться с ним точно так же, как с деревом», не опасаясь «ни вхождения воздуха по вскрытии полостей, ни сжатия частей, ни распадаения их». Пирогов распиливал замороженные трупы на тонкие параллельные пластинки. Точность распилов высочайшая — толщина каждой пластинки всего 6—7 миллиметров. Распилы делались в трех направлениях: поперечном, продольном и переднезаднем. Получались целые наборы пластинок-дисков. Сочетая их, сопоставляя друг с другом, можно было получить полное представление о расположении и соотношении различных органов и частей тела. Приступая к операции, хирург заранее знает, что встретит, когда проведет разрез в любом направлении и в любой точке: тело и правда становилось прозрачным.

В помещении было холодно, как на улице; пожалуй, еще холодней, солнце сюда не заглядывало, кругом были расставлены деревянные бадьи и ушаты, наполненные льдом, а мертвецкая, даже и не приспособленная для за-

нятий «ледяной анатомией», не из теплых мест. Пирогов замерзал, чтобы не оттаивали трупы. Работа длилась часами: каждую пластинку нужно было не просто изготовить, но сохранить навсегда, сделать достоянием всех. Тут же в комнате проледеневшие пластинки-распилы накрывали расчерченным на квадраты стеклом и в натуральную величину перерисовывали на лист бумаги с такой же сеткой. Из рисунков складывался атлас, названный Пироговым «Иллюстрированная топографическая анатомия распилов, проведенных в трех направлениях через замороженное тело».

Но ему и этого мало: «ледяная анатомия» подсказывает Пирогову анатомию «скульптурную». Фантазия буйствует — она ведет его мысль из промерзшего до инея на стенах морга в солнечную Италию, на раскопки погибших при извержении вулкана древних городов Геркуланума и Помпеи. «Подобно тому, как в Геркулане открывают произведения древнего искусства, залитые оплотневшею лавою, — объясняет Пирогов, — так и на замороженном теперь уже «до плотности камня» трупе с помощью долота и молотка обнажают, вылуцивают из оледеневших слоев нужные для изучения органы. Когда, с значительными усилиями, удастся отнять примерзлые стенки, должно губкою, намоченною в горячей воде, оттаивать тонкие слои, пока, наконец, откроется исследуемый орган в неизменном его положении».

Нет, недаром твердил Пирогов о счастливом соединении в человеке — и только человеку дарованном — пытливого ума и могучей фантазии. Недаром любил он с детства смотреть на звезды, не желал упираться взглядом под ноги, выискивать в пыли кем-то прежде прошедшим оброненную медную копейку. Недаром любил повторять: «Начиная — нужно верить». Недаром твердил, что невозможность познать истину до конца не может останавливать стремления к ней. Без стремления к истине, говорил Пирогов, нет счастья.

Личность и общество

Дома его ждали мальчишки, сыновья, Николай и Владимир, — Коля и Воля, он их так называл. Матери дети не помнили: Коле трех лет не было, когда она умерла, а Воля явился на свет ценой ее жизни.

После смерти Екатерины Дмитриевны Пирогов дважды собирался жениться по расчету, чего он не считал нужным скрывать от себя самого, от знакомых, похоже, что и от девиц, намечаемых в невесты. Он прямо говорил, что ищет мать детям. Оба сватовства расстроились: Пирогов находил в «невестах» изъяны и от предложения уклонялся. Но дело не в изъянах, просто он не умел вот так, по расчету, да и понимал вьедливым своим умом, что расчет неверен: женщина, им не любимая и его не полюбившая, матерью детям не станет, только мачехой.

Он и для себя хотел любви: хотел любить и быть любимым.

Он одинок был, великий, гениальный профессор Николай Иванович Пирогов. «У меня нет друзей», — признавался он с обычной прямоотой.

Главное правило своих врачебных трудов и ученых исследований — только правда, правда, какая бы ни была! — он перенес и на отношения с людьми. Он просил знакомых чаще говорить ему о его недостатках, бранить и упрекать его. Но и он хотел пользоваться таким же правом. Он полагал, что быть беспощадным к ближнему, желая ему добра, — это и есть добро. В отношениях с людьми он без колебаний отделял зерно от плевел, тотчас являлся на помощь, когда видел в том серьезную необходимость, и терпеть не мог потакать всему, что именова́л «безделицами». Он говорил, что всегда рад принести другому благо, если оно только не противоречит долгу и обязанности. Он объяснял, например: если кто-либо из знакомых станет добиваться какой-нибудь должности,

если даже жизнь и честь этого человека будут зависеть от достижения этой должности, но, по убеждению Пирогова, человек этот не способен исполнять ее, он, Пирогов, будет «всеми силами ему противодействовать, без всякого желания вредить ему». Взгляд на то, что значат долг и обязанность, слишком у многих вокруг был иной, нежели у Пирогова, — со всех сторон на него косились обиженные. Прославленный русский врач Сергей Петрович Боткин объяснял, что Пирогову приносило недоброжелателей нравственное превосходство, которое он не умел и не считал нужным скрывать.

А Пирогов утверждал: «У меня есть несколько приятелей и ни одного неприятеля». Он не называл врагов врагами. Он говорил: «Люди, считающие меня врагом». Эти люди, по его определению, «не понимают, что есть обязанности в обществе, которые требуют войны против личности, а они ничего не знают выше личности». Наверно, Пирогов не всегда бывал прав в частностях, но в целом он, спору нет, прав. В век субординации, писаной и неписаной, безудержной начальнической воли и безропотного подчинения, в век покровительства и пресмыкательства, кумовства, связей, погони за жирным куском, в век, когда мундир стоил дороже того, что под мундиром, а звезда на эполетах дороже звезды на небе, в такой век всего более ценить в людях их отношение к общественному долгу, к обязанностям в обществе — это ли не нравственное превосходство!

Он был одинок. Он однолюб был — и всему, за что брался, отдавался целиком, без остатка. Ему нужен был друг, который принял бы его целиком и сам безраздельно принадлежал ему. Где найдешь такого друга? Он признавался, что страшно ревнив, но ревностью душевной: его избранник должен с ним одним делиться своими чувствами, ведь и он не доверит своих никому более. Он говорил, что храм его внутренней жизни заперт на крепкий замок — он искал одного-единственного, кому захо-

тел бы доверить ключ. Ему нужна была жена — женщина и друг: порознь для него, однолюба и ревнивца, слишком много.

Он мучил себя упреками, вспоминая Екатерину Дмитриевну: четыре года она спасала его от одиночества, обреченная им на одиночество: «Я делал худо!»

Тоска одиночества, мечты о единственной, которая сумеет стать всем — женой, другом, женщиной, матерью его детей, — толкают его к письменному столу — он может сколько угодно твердить о запертой на ключ душе, но если что-то волнует его, тревожит, мучит, он испытывает жгучую потребность рассказать об этом людям, открыть им мысли и сердце, призвать в свидетели, отдать им свой опыт, уберечь от ошибок. Он потому, наверно, и твердит про свою замкнутую от мира душу, что ключ от нее жжет ему ладони. Порой прямо тут же, в Анатомическом институте, в этой живой декорации Дантова ада, где искал он успокоение душе, за тем же столом, на котором служитель доканчивает изготовление препарата, а специально приглашенный художник старательно переносит на бумагу рисунок ледяного распила, за тем же столом торопливо записывает он на листках разрозненные мысли о женщине, ее призвании, роли в обществе. Из листков складывается понемногу целый трактат об идеале женщины — Пирогов с грустью думает, что идеал оттого и идеал, что существует лишь в воображении, он с ужасом и презирая себя вспоминает свои неудачные попытки расчетливо найти подходящую жену и ставит точку: «Кончено. Останусь вдовцом».

А дома ждут мальчики, сыновья, редко дожидаются — отец возвращается поздно, прямо из передней быстро проходит в детскую, старается ступать тише, но не получается, шаг у него резкий и громкий, несколько минут стоит возле их кроваток, молча кладет одному, потом другому на голову легкую теплую ладонь, они сквозь сон узнают тягучий запах его рук; утром они просыпаются —

отец давно уехал; смотрят за ними-бабушка и тетя, Анна Ивановна, — мать и сестру Пирогов выписал из Москвы; в памяти детей резкий стук шагов, тепло рук, их странный запах, напряженное дыхание отца в молчаливой спальне. Откуда им знать, что в тишине комнаты чуткие до боли уши Пирогова оглушены гулом движущихся толп?! Он называет детей своим земным бессмертием: сколько бы ни успел он в жизни, дети *больше* него — они созданы, чтобы пережить и продолжить его.

Он размышляет о том, что должны дети нести в будущее, чтобы новые поколения были лучше и счастливее нынешних. Он не кичится, он мучается своим одиночеством, своим однолюбством, своей нравственной непохожестью на большинство, он хочет, чтобы дети его выросли людьми высоких достоинств и были окружены такими же людьми.

Он пишет трактат о воспитании, называет его «Вопросы жизни»; для него, медика, название особенно острое, беспощадное, рубежное: когда он произносил слово «жизнь», рядом неизбежно вставало «гибель», «смерть». Пирогов размышляет о том, как создать новое поколение людей, которое спасет несправедливое общество от гибели. Напечатать статью невозможно — она расходится по рукам во множестве списков. Ее читают в петербургских салонах, университетских курилках, провинциальных интеллигентских кружках; ее уважительно прочитали декабристы, еще томившиеся в сибирской ссылке; по выражению современника, с пироговской статьей «носились из угла в угол».

Если Пирогов появлялся дома ранее обыкновенного, он просматривал тетрадь поведения старшего сына: шестилетний мальчик сам отмечал в ней плюсами хорошие дела, а нулями дурные. Пирогов безжалостно зачеркивал плюсы, которые ставил себе ребенок; объяснял сыну, что трудолюбие, охота к занятиям, щедрость — не хорошие дела, а обыкновенные, обязанность человека на земле.

В последний раз про любовь

В небольшом кружке знакомых, где Пирогов иногда проводил вечера, ему рассказали про двадцатидвухлетнюю баронессу Александру Антоновну Бистром, восторженно читающую и перечитывающую его статью об идеале женщины. Девушка чувствует себя одинокой душой, много и серьезно размышляет о жизни, любит детей. В разговоре ее называли «девушкой с убеждениями». Пирогов восхищен: это же невероятно много! Пусть всего лишь способность иметь убеждения — и того довольно, очень, очень довольно!

Он воспламенился. Он не видел ее ни разу, да и слышал о ней лишь несколько фраз, но уже почти не сомневается, что она *та самая*, единственная. Александру Антоновну приглашают на вечер, где Пирогов намерен читать вслух «Вопросы жизни».

Из письма Пирогова: «Я нарочно сел напротив этой особы и только теперь в первый раз пристально взглянул на нее. Я дошел до второго вопроса (об устройстве семейного быта). Читая его, я чувствовал, что дрожь и какие-то сотрясающие токи взад и вперед пробегали по моему лицу. Мой собственный голос слышался мне другим в ушах. Я непроизвольно опять посмотрел на незнакомку и на этот раз вижу: она отвернулась и украдкой утерла слезу... Я так сидел, что не мог ее разглядеть хорошенько. Но для чего мне это было, когда я знал, я убежден был, я не сомневался, что это она?»

Похоже, и имя-то хорошенько не усвоил: «особа», «незнакомка», «в первый раз взглянул», «не мог ее разглядеть хорошенько», «обменялись несколькими словами» — но: *она!* Когда говорят о превосходстве ума над чувствами, обычно предполагают, что ум сдерживает чувства. У Пирогова все наоборот: ум воспламеняет чувства. Он считал, что «это она» — он чувствовал, что «это она»,



Сколько в нем страсти! Дома в ту же ночь он по-новому переписывает строки «Вопросов жизни», где речь о призвании женщины, — даром, что ли, читая эти страницы, дрожал он, неколебимый Пирогов, не в силах совладать с собой. В жертве, которую приносит женщина, ограничивая себя кругом семьи, видит он залог счастья всего общества — здесь, в домашней ячейке, готовятся люди будущего: «В семейном кругу лежит будущность человечества... Действовать в семейном круге — значит действовать в обществе, да еще как! Так, что эти действия отзовутся чрез 25 лет в другом поколении». Он заключает статью обращением к *той*, которая, услышав призывный голос: «Иди», протянет руку и скажет: «Да, я готова». Наутро чуть свет он отправляет статью Александре Антоновне: если «да», пусть она подчеркнет три последних слова. Ответ не замедляет себя ждать: заветные слова «Да, я готова» подчеркнуты двумя чертами. Он бросился к *ней* — впервые, кажется, махнул рукой на госпиталь, и на Анатомический, и на Инструментальный завод. В тот день всюду непорядок: операцию отложили, ассистент запутался в диагнозе, мастер на заводе отказался без «самого» заканчивать работу, в морге ледовые распилы размораживались. А он счастлив.

Из письма Пирогова: «И мы пошли, знакомые уже полжизни, рука в руке, и говорили целый вечер без волнения, ясно, чисто об участии моих детей, их воспитании, решении для них вопросов жизни. И сходство чувств познанием руки обозначалось».

Какое счастье! Но ему, как всегда, мало. Они обвенчаются в июне 1850 года: четыре месяца до венчания Пирогов атакует невесту письмами — пишет утром, днем, вечером, всякую свободную минуту, пишет дома, в госпитале, в анатомическом театре, посылает письма и два и три раза на дню — пять, десять, двадцать страниц старательного, убористого почерка...

Дома на его рабочем столе дагерротип — портрет

Александры Антоновны; по вечерам он зажигает две свечи по сторонам ее портрета — это словно бы маленький храм, он мысленно беседует с ней, выпивает, глядя на портрет, бокал шампанского и бросается писать. На листе бумаги он обводит пунктиром овал — «Вот тебе мой поцелуй!», кружок обводит — тут «упала слеза умиления» — какие сентиментальности, кто бы ждал от профессора Пирогова! — но тут же несколько жестких строк о недостатках ее слога и выписка из грамматики касательно правил пунктуации.

Пока тянется сватовство, умирает мать Пирогова. Строки его писем о последних часах жизни и о смерти матери — высокая поэзия! Он стоит на коленях перед ложем старушки, согревает в своих руках ее холодеющие руки, в беспамятстве она повторяет его имя, имена внуков, его сыновей, он видит, как стихает ее дыхание, и, припав к ее устам, принимает последний материнский вздох. А следом длинные рассуждения о материнской любви, и о женской, и о любви к матери и к жене, о семейном быте вообще, о религии, о назначении человека в обществе.

Он невыносимо одинок, но можно и невесту понять: «Может быть, со временем моя любовь одушевит вас, и вы также себя почувствуете тогда более способным писать о своих чувствах, нежели о всех возможных умозрениях».

Он пишет ей стихи о листьях цветка мать-и-мачехи. «Их сторона лицевая гладка, свежа и, как лед, холодна, хоть и красное солнышко греет ее», а «их испод — теплый, пушистый и мягкий, хоть и к земле он приник и божьего света не видит»:

Холодная мачеха — то их сторона лицевая.

Теплая — мать, нету которой на свете...

Он мечтает, что Александра Антоновна не мачехой будет детям — матерью. Он повторяет, что детям она нужнее, чем ему; он думает о земном бессмертии, о новых поколениях, но девушке хочется слышать, что он

любит ее для себя одного. Знакомые просят его меньше писать ей о детях — он возмущается: она должна понять его до конца, он требует, чтобы и она в каждом письме говорила ему о его сыновьях, упрекает ее, если она, увлекшись им и собой, про детей ни словечка. Он от нее великой жертвы требует — не иметь собственных детей, он убежден, что это разрушит их семейное счастье.

Из писем жениха Александра Антоновна могла не только душу его вычитать, не меньше — каково быть женой Пирогова. Служить обществу, но не выходя из круга семьи. Пожертвовать всем ради призвания, но его призвания. Быть другом мужа и, следовательно, равною с ним, но, прибавляет он, это равенство учителя и ученика, который верит в непогрешимость наставника, — до чего ж непохоже на то, чему он, наставник, учил учеников, на собственное его отношение к наставникам!

Она согласилась.

Собираясь в имение родителей невесты, где предполагалось сыграть незаметную свадьбу, Пирогов, заранее уверенный, что медовый месяц, нарушив привычные его занятия, сделает его вспыльчивым и нетерпимым, просил Александру Антоновну подобрать к его приезду увечных бедняков, нуждающихся в операции: работа усладит первую пору любви.

Призвание — быть

Послания Пирогова к невесте, хотя и уснащены пылкими признаниями и сентиментальными возгласами, не любовные письма. Но Пирогов и не ставил в них целью говорить лишь о любви — он жаждал в них раскрыть свою натуру во всей ее сложности и во всех проявлениях, и в этом смысле пироговские длинноты оправданны и объяснимы: он жаждал писать правду, и только правду, он находил слова в сердце, но, прикрепленные к бумаге, они вдруг начинали отдавать фальшью — он ужасался.

«Мысль изреченная есть ложь», — грустно произнес поэт. А Пирогов стремился, чтобы мысль изреченная жгла истиной, оттого и многословничал, путался, перескакивал с одного на другое.

Из письма Пирогова: «Не так трудно, наконец, довести себя до того, что ты сделаешься для людей тем, кем ты думаешь быть и для самого себя. Но вот что трудно: быть для самого себя именно тем, кто ты есть действительно».

Он писал письма не только для невесты, он и для себя писал их, заглядывая в глубины своего «я» остро нацеленным взглядом, он самому себе пуще всего боялся казаться тем, кем хотел бы быть, а не тем, кто он есть. В клиническом отчете проще: «Этого больного я погубил» — и кто посмеет заподозрить тебя в неискренности! Но «механизм, управляющий обществом», утверждая и укрепляя выгодный ему порядок, на любой случай жизни придумал «форму», положенный обычай. «Механизму» выгодно, чтобы люди действовали по заведенному порядку, как собачки в кукольном театре, которые не по собственной воле, а лишь движимые ниточками, лают, перебирают лапками, виляют хвостом. Людям внушают, что лишь эти единообразные действия правильны и необходимы. Из людей выветривается живая душа, в них угасает страсть, горение, умирают откровеннейшие желания, все заменяется «мертвой, тяжелой, свинцовой формой, которая давит и хоронит». Любовь, добродетель, религия, и они в общественном механизме не более как «форма». «Форма» помогает скрыть внутреннюю пустоту и ничтожество, можно слыть благородным человеком, добиться уважения окружающих, быть прекрасного мнения о себе, даже добро можно делать — и опять же все по принятой рутине: когда благородство — «форма», уважение — «форма», собственное мнение — «форма», добро — «форма» и общественный механизм, превративший нравственный быт людей в условность, — «форма» и рутина.

Как разорвать эти цепи, оковавшие, опутавшие человека, обреченного *казаться*? Быть исповедально честным с собой и беспощадно честным с другими, отвечает Пирогов: против *казаться* одно оружие — *быть*!

Быть начинается там, где человек осознает, что «мы живем на земле не для себя только», что «не остыло еще сердце для высокого и святого», что «нельзя смотреть на все, что делается вокруг нас, односторонним эгоистическим взглядом». *Быть* — это трудиться не единого хлеба ради: лишь труд для общего блага дает каждому человеку силы не утратить содержания внутреннего, высоких стремлений души.

Можно хорошо оперировать, читать лекции, делать опыты, писать ученые труды — и *казаться*. *Казаться* — это жить по привычке, *быть* — по вдохновению. *Быть* — это непереносимое счастье труда, чувство, что с трудом силы душевные не уходят из тебя, но все более тебя наполняют. *Казаться* — это очерчивать себе место на земле. *Быть* — находиться в бесконечном полете. *Казаться* — это принимать как есть мир, в который пришел. *Быть* — всю умственную жизнь «свести на выработку воззрения на мир, жизнь и себя самого»: «Эта постоянная работа, не прерываясь, тянется красною нитью чрез целую жизнь». *Казаться* — жить в сегодняшнем дне. *Быть* — каждой клеточкой ощущать, что «мы все живем в одном только будущем». *Казаться* — как дитя копилкой с копейками, дорожить каждым своим деянием, каждое лелеять и холить и приучать к тому же всех вокруг, любовно вычислять свои заслуги и настойчиво искать награды и славы. *Быть* — по велению сердца сделать тысячи операций, написать книги на века, совершать открытия, и не награды требовать, а ругать себя, обнародовать свои ошибки, потому что страшнее трубы страшного суда, если эти ошибки достанутся тем, кто идет следом, и притом непрестанно и напряженно думать о переустройстве общества, о нравственном совершенствовании современников и по-

томков, о счастье человечества, и постоянно не удовлетворяться содеянным в убеждении, что будущее, для которого и живем, не очень-то и оценит заслуги настоящего, ведь настоящее для будущего — вчерашнее, что оно, будущее, и на него, Пирогова, взглянет с усмешкой, как он на вчерашних своих учителей, и лишь изредка дать волю надежде: «Если не теперь, то, может быть, когда-нибудь после, когда мои кости будут гнить в земле, найдутся беспристрастные люди, которые, разглядев мои труды, поймут, что я трудился не без цели и не без внутреннего достоинства».

Но пока жив, пока есть: «Оставайся верен твоему призванию... Терпи, борись, иди вперед и дорожи твоим призванием так же, как жизнью».



«Мы живем на земле не для себя только»

Пирогов приезжает в Севастополь

1 сентября 1854 года союзный англо-французский флот проследовал мимо Севастополя к Евпатории. Военные корабли, парусные и пароходы, транспортные суда, большие и малые, — вся эта громада, окутанная туманом и дымом, представилась очевидцам медленно плывущим вдоль горизонта городом. Адмирал Нахимов наблюдал движение неприятельского флота с вышки севастопольской морской библиотеки; обшита медью подзорная труба ни разу не дрогнула в небольшой его руке, но сердце в груди ухало колоколом: Нахимов понимал, что вот оно — началось.

На рассвете следующего дня на пустынной песчаной косе близ Евпатории была произведена высадка неприятельских войск. Матросы-сигнальщики, сидевшие на вершинах мачт, напряженно всматривались в ближнюю полосу серого песка, и свинцовую поверхность воды по-

одадь, и в дальний каменистый берег, кое-где прикрытый ржавыми прямоугольниками виноградников, и всюду взор их встречал пустоту — ни человеческой фигурки где-нибудь на склоне холма, ни телеги, ни крытой фуры на светлой линии дороги.

Русская армия встретила неприятеля 8 сентября на реке Альме. Войска союзников превосходили русскую армию почти вдвое, к тому же были лучше вооружены, флот поддерживал их огнем с моря. Бой начался в полдень и окончился в шестом часу вечера. Потери были значительны с обеих сторон, но удержать наступление неприятеля русские части не могли: они стали отходить.

Перевязочные пункты оказались под огнем вражеской артиллерии. Работать под обстрелом было невозможно. Фургоны, набитые ранеными, не получившими первой помощи, поспешали за отступающими частями. А на дороге их встречали, с мольбой протягивали к ним руки, провожали их с отчаянием во взоре все новые и новые страдалцы...

Неприятельской армии открылась дорога на Севастополь.

«Отступать нам некуда, сзади нас море, — обратился к гарнизону адмирал Корнилов, возглавивший оборону города. — Всем начальникам частей я запрещаю бить отбой, барабанщики должны забыть этот бой! Если кто из начальников прикажет бить отбой, заколите, братцы, такого начальника... Товарищи, если бы я приказал ударить отбой, не слушайте, и тот из вас будет подлец, кто не убьет меня!..»

5 октября враг предпринял первую бомбардировку Севастополя. В этот день на Малаховом кургане был смертельно ранен Корнилов. «Отстаивайте же Севастополь!» — сказал он тем, кто подбежал поднять его с изрытой ядрами земли.

24 октября русская армия попыталась перейти в наступление у развалин древнего селения Инкерман. Успех

поначалу сопровождал русским, но неуверенность высшего командования, плохая организация связи между частями, бездействие полков, назначенных прийти на помощь атакующим, заставили русские войска отступить на исходные позиции. Весь день, пока шло сражение, лил дождь, но к ночи кончился. Из-за разорванных, сияющих жемчужом облаков появилась большая луна, ярко осветила высоты, покрытые телами убитых и раненых; всю ночь бродили по высотам в надежде спасти кого только возможно военные врачи, фельдшера, солдаты с носилками; после они рассказывали, что им казалось, будто вся земля стоит вокруг.

12 ноября 1854 года после долгого «реброкрушительного» (собственное его слово) путешествия в тарантасе по разбитым осенней распутицей и неспешно ползущими обозами дорогам, ночуя на грязных, набитых проезжими всякого рода и звания станциях, где все припасы давно уже съедены и выпиты, где тюфяк, солома в котором обратилась в труху, на вес золота и спят вповалку от самого порога в сених, не имея возможности побриться, вымыться как следует, сменить белье, прибыл по собственной охоте в Севастополь профессор Николай Иванович Пирогов.

Умершие лошади лежали в грязи вдоль дороги. Вонзив в падаль железные когти, неподвижно застыли на полусгнивших остовах сытые орлы. Глядя на их распластанные крылья, на головы, повернутые вбок с холодным презрением, Пирогов вспоминал имперские гербы.

На крымских дорогах Пирогов соскакивал с тарантаса в липкую по колено грязь и пропускал идущие из Севастополя арбы и телеги, груженные ранеными. Солдаты и матросы, в большинстве лишь наспех перевязанные, тряслись на мокрых, грязных досках, ничем не прикрытые, а погода, как назло, стояла ненастная — холод, ветер, мрачное небо, каждые несколько часов сыпал дождь.

В Бахчисарае Пирогов осмотрел временный госпиталь:

увидел триста шестьдесят раненых, сваленных в беспорядке на нары, один возле другого; солдаты с гнойными зловонными ранами и тут же с чистыми, ожидавшие перевязки, и умирающие, которые так и не дождались ее: все в нетопленном помещении, без одеял, без горячей пищи. Госпитальный начальник, безразлично глядя на Пирогова, объяснил, что кухонных котлов пока не имеется; Пирогов сорвал замок с двери сарая, там лежали новые котлы; в ответ на его брань начальник лениво приложил два пальца к козырьку и безразлично сказал: «Видали мы таких».

Главкомандующий Черноморским флотом и Крымской армией князь Меншиков, адмирал и генерал-адъютант, которого моряки не признавали адмиралом, а сухопутные — генералом, принял Пирогова в грязной и тесной лачуге, освещенной скособочившимся стеариновым огарком. Острый взгляд Пирогова выхватил из полутьмы узкую походную кровать с кожаным валиком вместо подушки. Пирогова покорило показное спартанство вельможи — вся Россия, исключая столичный высший свет, видела в его безразличии и беспечности причину многих тягот, обрушившихся на русскую армию. Пирогов знал, что князь, будучи государевым любимцем, занимает одиннадцать высоких должностей, по каждой пользуется немалым доходом и расшитым золотом мундиром, ни в одной не смыслит толком, и не желает смыслить, и гордится тем, что не смыслит, и беспечно острит там, где надо трубить тревогу, рыдать, взывать к людям, — остроты князя повторяли в «свете». Людей, действовавших решительно, тем паче других побуждавших к действию, князь недолюбливал: они мешали его беспечности, подчеркивали ее.

Нахимов, после гибели Корнилова принявший на себя всю ответственность за судьбу Севастополя, писал с горечью, что менее, нежели кто-нибудь, может повлиять на положение дел.

Князь расспрашивал Пирогова о Петербурге, острил,

хихикал, игриво шурил глаза, морщил в улыбке лиловые стариковские губы под тусклой серебристой щеточкой усов: «Зачем вам, Николай Иванович, много госпиталей? Сейчас в двух крадут, а в четырех станут красть вдвое больше!»

Пирогов спросил:

— Будет ли сдан Севастополь?

Главнокомандующий, прищурившись, долго высматривал нужную пуговку на груди пироговской дорожной фуфайки, отыскал, коснулся сухим пальцем:

— Лучше вы мне скажите, долго ли все это может продолжаться?..

Хихикнул. И в беспечных глазах его прочитал Пирогов: давно сдал Севастополь вельможный князь.

...Рано утром Пирогов надевал длинную красную фуфайку, солдатскую шинель, влезал в грубые мужицкие сапоги и отправлялся по госпиталям.

Госпитали Крымского полуострова были рассчитаны на 1950 кроватей. Еще 100 кроватей имелось в симферопольской городской больнице. А при Альме было ранено три тысячи солдат, под Инкерманом еще шесть тысяч. В Севастополе раненые лежали без крова, без пищи, без воды прямо на улице и во дворах. Счастливы, попавшие под госпитальную крышу, валялись на голом полу; хорошо, если удавалось найти местечко под чужой кроватью. Хватали за ноги проходивших мимо врачей и фельдшеров, просили помочь. А врачей было мало. Недоставало инструментов, лекарств, перевязочных средств, пищи, простой питьевой воды. Из-за недостатка хлороформа операционная, как в былые годы, оглашалась воплями страдальцев.

Пирогов приехал в Севастополь через восемнадцать дней после инкерманского дела и застал еще тысячи раненых, ожидавших первой помощи. За десять дней он и сопровождавшие его хирурги сделали операции всем «запущенным с 24 октября». Но Пирогов-то знал, что это служ-

бишка — не служба. Помогло месячное затишье. А ну как следом за первым сразу новый Инкерман?..

Нахимов появлялся в госпитале почти всякий день. Останавливался возле пироговского стола, ожидая конца операции. Раненый, пробуждающийся после хлороформа, счастливо улыбался, видя склоненное над ним лицо самого «Павла Степаныча». Собираясь уходить, Нахимов доставал из кармана записную книжку, обращившись к Пирогову: «Чем могу помочь?» А наутро появлялись позарез необходимые нахимовские приказы об устройстве бань, о снабжении личного состава сушеной зеленью, о передаче госпиталю матрацев с морского склада.

Пирогов провожал Павла Степановича на крыльцо. Спрашивал:

— Будет ли сдан Севастополь?

Нахимов сердито молчал, молча натягивал фуражку с небольшим козырьком, крепко ступая, сбегал с лестницы. Но Пирогов знал, как знали все защитники города: ничего больше не осталось в жизни Нахимова — только Севастополь!

У раненых солдат и матросов, окровавленных, только что вынесенных из-под огня, спрашивал Пирогов:

— Будет ли сдан Севастополь?

— Никак нет, — отвечали. — Не надеемся.

Из письма Пирогова: «Не хочу видеть моими глазами бесславия моей Родины; не хочу видеть Севастополь взятым; не хочу слышать, что его можно взять...»

Рады стараться...

Из Севастополя раненых отправляли в тыл — в Симферополь. Обессиленные, голодные лошади с трудом вытаскивали ноги из грязи; по временам то одна, то другая, споткнувшись и как-то особенно резко качнув головой, падала в густое месиво и больше не вставала; тяжелые орлы, лениво взмахивая крыльями, кружили над дорогой.

За сутки обозы проползали три-четыре версты. Раненые ночевали в открытом поле, и кружки горячего чаю негде было взять, хорошо, если сердобольный возчик натолчет в солоноватой степной водичке черных сгоревших сухарей. Лили дожди, сыпал мокрый снег, и раненые, наспех прикрытые шинелишками, под белой его пеленой делались похожими на странные изваяния. Людей, спасенных врачами от смерти, дорога снова делала смертниками. Каждый десятый раненый умирал на пути из осажденного города.

Симферополь превратился в город-госпиталь. Многие городские здания и частные дома были отданы для размещения раненых. Звонко стучали о камень тротуара деревянные инвалидов. У каждого второго встречного белая повязка на голове или черная косынка, поддерживающая искалеченную руку. Но тут же, в Симферополе, шустро бегали на своих двоих интенданты, армейские поставщики, военные чиновники, хапали, крали обеими руками, вечером за ломберным столом или в ресторане спускали тысячи, а утром наживали вдвое; здесь почти чудесным образом улетучивались из обозных телег, со складов, из накладных и отчетов мука, крупы, мясо, сапоги, полушубки — все, что предназначалось для Севастополя; в ту пору говорили: «Вся Россия щиплет корпию, а перевязывают ею англичан» — интенданты тайно сбывали перевязочные средства неприятелю.

Пирогов знал, что главная служба впереди, что надо обеспечивать тыл на случай наплыва раненых, — он отправился осматривать симферопольские госпитали. Тарантас болтало на дорожных колдобинах, как лодчонку в бурном море: спина и ляжки у профессора Пирогова, когда добрался до цели, были в синяках. Но отдыхать некогда: в грязный, тесный номер гостиницы «Золотой якорь» он зашел лишь на минуту — оставил чемодан и, стащив с себя красную фуфайку, протер тело спиртом — зашивел!

В симферопольских госпиталях оказалось втрое больше раненых, чем кроватей: врачей в городе почти не осталось, фельдшеров заменяли цирюльники, лазаретной прислуги вовсе не было; в начале войны прислали в город партию нестроевых солдат ухаживать за ранеными, да позабыли выдать им аттестаты на довольствие, кто был постарше да послабее, те померли, кто покрепче, те пошли просить «христа ради». В одном частном доме Пирогов нашел четыреста нигде не числившихся раненых солдат и матросов — они лежали, как их сбросили с телег, на голом полу, врачи к ним не заглядывали, жители соседних домов приносили им еду, как подавание.

В госпитальном супе плавают черви; в ответ на разъяренный взгляд господина профессора интендант лениво прикладывает к козырьку два пальца — будь здесь хоть бульон-консоме, есть его все равно не из чего и нечем — мисок нет, ложек нет. Господин профессор в отчаянии грызет сигарку над пустыми корзинами для перевязочных средств; поднимает глаза — и снова навстречу беспечный, охальный взгляд интенданта, насмешливо поднятые к козырьку два пальца. Пирогов подает докладные генерал-губернатору, требует принятия срочных мер; генерал-губернатор тотчас приглашает господина профессора к себе, ласково усаживает в кресло, огромное, как корабельная корма, садится напротив и, скучно загибая пальцы, твердит: «Подвод нет... Строений нет... Людей нет...»

Поздно вечером Пирогов выходит из главного госпиталя, размещенного в доме дворянского собрания; по обе стороны от центрального здания — флигели. Левый флигель ярко освещен, оттуда слышатся шум, смех, громкая музыка, в левом флигеле расположился (тесновато, конечно, но на войне как на войне!) городской театр. В правом — темном и молчаливом — мертвецкая. По вечерам театр заполняют тыловые герои — генералы с золотом на мундирах и интендантские чиновники с золотом в карманах, слушают полковую музыку, аплодируют, отбивая

ладони, заезжим примадоннам. Вдруг громкий вопль, покрывая музыку и плеск оваций, доносится со двора, дежурный офицер тотчас появляется в дверях, успокаивает улыбочиво: «Там транспорт из Севастополя пришел, одного безногого, снимая с подводы, в лужу уронили». На расвете из правого флигеля одна за другой, грузно покачиваясь, ползут на кладбище телеги. Отяжелевшие орлы, сидя на обочинах, провожают телеги неподвижным взглядом.

За две с небольшим недели Пирогов обошел все симферопольские госпитали, осмотрел и перевязал всех раненых, всем, кому требовалось, сделал операции, отвел отдельные дома для гангренозных, гнойных, тифозных, заново разместил в шестидесяти зданиях шесть с лишним тысяч человек. Едва установил порядок, прибыл из Севастополя новый обоз, а наутро увидел Пирогов, что все его труды пошли прахом: привезенных раненых свалили куда ни попадя — гнойных к тифозным, чистых к гангренозным. И опять все сначала: беготня из конца в конец города, размещение больных по отделениям, руготня с интендантами, докладные, два пальца к козырьку, пустые глаза навстречу.

Из письма Пирогова: «Страшит не работа, не труды — рады стараться, — а эти укоренившиеся преграды что-либо сделать полезное, преграды, которые растут, как голы гидры: одну отрубил, другая выставится...»

Страница истории

8 сентября 1854 года, в день первого сражения на Крымском полуострове, в рядах воинских колонн, спешивших к альминским виноградникам, ехал верхом на незавидной лошаденке худенький юноша, почти мальчик, в поношенной матросской одежде. Солдаты-пехотинцы принимали его за юнгу, отправленного на передовую с поручением, или за сына кого-нибудь из севастополь-

ских матросов, не пожелавшего отставать от отца. Но моряки, вглядываясь в юного всадника, с изумлением узнавали знакомое лицо Даши Александровой, девушки-сироты с Северной стороны Севастополя.

Сведения о начальной поре жизни Даши разноречивы и малочисленны. Мать девушки умерла задолго до начала войны, отец, матрос, погиб, кажется, в Синопском бою. Из немногих свидетельств известно, что Даша брала в стирку белье, рукодельничала, поторговывала, чем могла, держала в своей лачуге убогую лавчонку, куда заглядывали бедняки-матросы выпить стопку, выкурить трубочку, перекинуться словом. Едва девушка узнала, что неприятельская армия высадилась в Крыму, она, не раздумывая, продала домишко и весь скарб, на вырученные деньги приобрела «коняку», наполнила несколько бутылей вином и уксусом, котомки набила чистым тряпьем, срезала косу и двинулась вслед за русским войском.

У многих участников сражения на Альме осталась в памяти выразительная картина: тут же, на поле брани, в тени развесистого дерева, к которому привязан отягощенный переметными сумами «коняка», хлопочет возле раненых девушка в матросской форме с чужого плеча. Сохранился старинный рисунок: Даша перевязывает раненому солдату голову, его товарищ с перевязанной рукой сидит тут же, подкрепляясь кружкой вина, еще один воин, у которого прострелена нога, опираясь на ружье, ждет своей очереди. Ни вражеские пули и снаряды, ни кровь, ни стоны изувеченных не пугали девушку — впервые видя раненых, она чутьем угадывала, какую помощь следует оказать каждому. Один из свидетелей тогдашних событий рассказывает, что к месту, где действовала Даша, проходившие команды являлись как на перевязочный пункт, «и только тогда прекратилось пособие, когда израсходовались у ней все заготовленные запасы».

В обзоре медицинской службы в период Крымской

кампании указано совершенно определенно: «Повозка Даши была *первым* по приходе неприятеля в Крым перевязочным пунктом, а сама она *первою* сестрою милосердия». В «Толковом словаре» Даля слово «милосердие», в частности, объясняется: «любовь на деле».

Весть о подвиге девушки, рассказывает современник, на другой же день разнеслась по всему Севастополю и скоро долетела до Москвы и Петербурга. Имя «бедной сироты без роду и без племени» стало известно тысячам соотечественников, ее торжественно нарекли Дарьей Севастопольской, государь из Петербурга послал ей медаль, денежное награждение и «отеческий поцелуй», но подлинная слава девушки в том, что она по собственному побуждению положила начало женской помощи на войне. Многие женщины в городе последовали примеру Дарьи Александровой, принося какую умели пользу раненым.

Дарья Александрова была решительна, смела, благородна и... неизбежна: кто-то должен был начать. Сестры милосердия не могли не появиться в Севастополе, городе-крепости, каждый житель которого стал его защитником. Матросские жены и дочери помогали мужчинам возводить укрепления, подтаскивали к орудиям боеприпасы, под огнем несли на бастионы узелок с теплыми лепешками или жбан с квасом. При нехватке врачей и фельдшеров, особенно в начале войны, как могли они не взять на себя заботу о тысячах раненых страдальцев?..

Пирогов в первой беседе с главнокомандующим говорил о значении женской помощи на войне; Меншиков посмеивался, сыпал остротами, не слишком пристойными, потом изволил припомнить: «Да-с, правда, и у нас есть какая-то Дарья...» Но Пирогов, не откладывая, познакомился с «какой-то Дарьей», которую в письмах называл «знаменитой Дарьей», пригласил ее ассистировать при операциях...

Пирогов не один явился в Севастополь: следом двига-

лась созданная им первая в России группа сестер милосердия, так называемая Крестовоздвиженская община.

Мысль о посылке сестер милосердия на театр войны поддержала при дворе великая княгиня Елена Павловна, вдова государева брата; она сочла за благо соединить свое имя с именем Пирогова. Немного погодя вскрылась разница в замыслах великой княгини и великого хирурга: высочайшая покровительница намеревалась создать нечто вроде «религиозного ордена», Пирогов ждал от медицинских сестер «любви на деле», любви и дела, деятельного и самоотверженного человеколюбия, он глубоко чувствовал громадный нравственный заряд этих понятий — медицина и сестра. Больным и раненым нужны были умелые и добрые *сестры*, а не «женские Тартюфы». Когда запахло лицемерием, «формой», Пирогов написал великой княгине резкое письмо и объяснил: «Я ей высказал всю правду. Шутить такими вещами я не намерен; для виду делать только также не гожусь; итак, если выбор великой княгини пал на меня, то она должна знать, с кем имеет дело... Если хотят не *быть*, а только *казаться*, то пусть ищут другого...»

Любовь на деле

Сестры отправлялись в путь из Михайловского дворца, резиденции великой княгини; в Петербурге в их честь кричали «ура!» и служили молебны; радушные москвичи носили их на руках; тульское купечество закатило им гигантский ужин; в Белгороде к их приезду устроили иллюминацию; в Харькове их приветствовал генерал-губернатор; от Перекопа усталые женщины тащились на волах и верблюдах, довольствовались сухим хлебом и редкой на этом пути водой из степных колодцев; в Севастополе их встречали орудийный грохот, кровь ручьями, ядовитая вонь гангренозных барачков и великий Пирогов в облепленных грязью сапогах и старой солдатской шине-

лишке, из-под которой выглядывала ветхая красная фуфайка: «Завтра в восемь утра на дежурство, сударыни!»

Одна из сестер оставила описание первого дня работы в Севастополе. Наутро после приезда ее отправили в госпиталь при третьем бастионе. Туда прибыло сорок пять тяжелораненых. Перевязывали их под обстрелом; несколько бомб угодило в здание. Доктор позвал сестру помогать при ампутации; хлороформа было мало; раненый проснулся на столе и страшно закричал; сестра положила ему на лоб руку, и он утих, словно получил наркоз. А с бастиона все доставляли изувеченных солдат и матросов. После нескольких операций ее послали в кухню за обедом. Она принесла миски с кашей и стала кормить раненых. Пока ходила к котлам за новой порцией, ядро пробило потолок — разорвало четырех человек. Забежала переодеться в недалшний домик, куда определили ее на жительство, увидела в стене брешь от прямого попадания снаряда; в соседней комнате лежали женщина и трое детей — все убитые. Вернулась на бастион, до поздней ночи перетаскивала раненых в безопасное место, раз двадцать карабкалась в гору под дождем, по скользкой тропе; жидкая по колено грязь кипела от падавших бомб...

Они были совсем разные, эти женщины в одинаковых коричневых платьях, белых чепцах и передниках. Екатерина Бакунина, внучатая племянница фельдмаршала Кутузова, — одна из самых деятельных сестер, впоследствии руководительница общины. Ей случалось двое суток не отходить от операционного стола, помогать при пятидесяти ампутациях подряд. И Александра Травина, вдова мелкого чиновника. О своей работе в Севастополе она докладывала по-военному делово и коротко: «Опекала шестьсот солдат в Николаевской батарее и пятьдесят шесть офицеров». Баронесса Екатерина Будберг, не страшившаяся никакой опасности: она переносила раненых под самым яростным артиллерийским обстрелом, сама по-

лучила в плечо осколок. И Марья Григорьева, коллежская регистраторша. Эта одна заслужила памятник: она не выходила сутками из дымящегося зловонием дома, где лежали умирающие от зараженных ран, слушала только стоны безнадежных, видела только страдания и смерть; она облегчала людям последние минуты и ни разу не испытала великой радости созерцания больного, возвращающегося к жизни. Совсем разные были эти женщины в одинаковых платьях. Но их роднила любовь к отчизне, быть может, по-разному понимаемая, желание служить своему народу, быть может, разными причинами вызванное. Дорогой ценой оплачивали они эту любовь и это служение: каждая четвертая сестра милосердия из приехавших в Севастополь нашла там свою гибель.

Когда отряд сестер уезжал из Петербурга, великосветские моралисты пророчили, что женщины-де занесут в армию разврат. А женщины принесли на бастионы и в траншеи Севастополя высокий подвиг служения людям. И в годы войны, и впоследствии, вспоминая о ней, Пирогов неизменно отмечал и огромную «техническую помощь», оказанную сестрами в Севастополе, и их неизмеримое нравственное влияние.

Вопреки расхожим мнениям чиновного начальства, вопреки яростному сопротивлению должностных воров и спекулянтов, вопреки традициям Пирогов поручил сестрам — женщинам! — весь надзор за госпиталями. Сестры, кроме того, что стояли у операционных столов и дежурили у постели раненых, беспощадно, по-пироговски, ревизовали аптеки (один из аптекарей, не дожидаясь суда, застрелился со страху!), в госпитальных кухнях отмеряли по норме продукты (и запечатывали котлы, уберегая и немного от воровских рук!), обнаруживали на складах «затерянные» палатки, «позабывтые» одеяла, «списанные» матрацы; сестры сопровождали транспорты, вывозившие раненых из Севастополя, шли долгие версты пешком за санитарными фурами.

Сестры оказались в Севастополе самой надежной, бесстрашной и неутомимой пироговской армией. И если вначале, приглядываясь к новому делу, Пирогов, по собственному его признанию, «более по инстинкту, нежели по опытности, был убежден в великом значении женского участия», то позже, подводя итоги, он убежденно писал о героинях, которые «отличились в уходе за ранеными и больными, презирая все злоупотребления администрации, все опасности войны и даже самую смерть».

Один из защитников города, Лев Николаевич Толстой, в рассказе «Севастополь в мае» описал ужас перевязочного пункта после бомбардировки и тут несколько строк всего посвятил сестрам милосердия — в этих скупых строках он сумел сказать нечто самое важное: «Сестры с спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, с бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами». По достойному, исполненному суровой сдержанности тону это близко всему, что говорил о сестрах милосердия Пирогов.

Однажды, выслушав очередной отчет севастопольских сестер, Пирогов в отчаянии развел руками:

— Вы что ж, хотите, чтобы я вас в глаза хвалил?..

Высшая пироговская похвала!..

Уже после войны великая княгиня, знакомая с прежними взглядами Пирогова, сказала, желая сделать ему приятное:

— Женщины должны только быть направляемы мужчинами.

Но после Севастополя Пирогов думал не так, как прежде.

— Это совершенно справедливо, — отвечал он, — но справедливо только до тех пор, пока женщины будут вос-



питаны по-нынешнему и с ними будут обращаться все по той же устарелой и бессмысленной методе. Но это следует изменить, и женщины должны занять место в обществе, более отвечающее их человеческому достоинству и их умственным способностям.

Севастопольские письма

В связи с недостатком боеприпасов последовало секретное распоряжение: на пять выстрелов неприятеля отвечать одним: если же боеприпасов оставалось всего на один-два выстрела, то и вовсе не отвечать, дабы не лишать солдат убеждения, что пороху еще довольно. Севастопольские артиллеристы в дни православных праздников выпрашивали разрешение стрелять побольше.

Город непрерывно под огнем, от операционного стола не отойти, все время постулают раненые. Как снег на голову приказ свыше: всех ампутированных перевезти на Северную сторону. Пирогов бросает нож, бежит в штаб, трясет дежурных офицеров: раненые в тяжелом состоянии, нужно сначала подготовить кровати, матрацы, горячую пищу. Отвечают: в указанном месте все уже налажено, тут высшие виды, которые вам неизвестны, исполняйте приказ. Пирогов все так же — бегом, бегом, по колену в грязи — возвращается в операционную, велит начать перевозку. Поднимая глаза от операционного стола, с тревогой смотрит на окно, затянутое сплошной серой пеленой дождя. После двух или трех десятков операций выпрашивает у кого-то из подвернувшегося начальства дрожки, чтоб быстрее; не отдыхая, не обедая, мчится на Северную сторону. В залитых водою стареньких солдатских палатках плавают тощие матрацы, на них, сотрясаясь в ознобе, теряя сознание, умирают люди с отрезанными руками и ногами. А дождь колотит по дряхлой парусине палаток упругим ружейным свинцом, и вода все прибывает...

Рыдай, кричи, размахивай кулаками, грози карами земными и небесными — чем пробьешь самоуверенное и недоброе безразличие, готовое каждое мгновение обрушиться неукротимой местью на того, кто осмелится потревожить, заподозрить, разоблачить? Над сестрами и фельдшерами, над врачами, над Пироговым поставлен генерал-штаб-доктор, который более помнит о первых двух частях своего титула, нежели о последней, поставлены генерал-гевальдигеры и просто гевальдигеры, строевые чины и чины военной полиции, «заодно» обеспечивающие и медицинскую часть в армии. Это по их вине раненые умирают в холодной грязи; это они закатывают жирные и хмельные обеды в полотняных палаточных залах и отказываются найти просторную и целую палатку для лазарета; это они после боя вылезают невесть откуда, точно тараканы из щелей, трутся, всем мешая, на перевязочных пунктах и в госпитальных бараках — глядишь, заглянет начальство повыше, можно схватить крестик или медальку «за попечение о больных и раненых». Врач склонился над раненым, перевязывает артерию, а генерал-гевальдигер или просто гевальдигер, предвкушая приезд начальства, врывается в операционную, едва не наступает на лежащих на полу раненых, орет: «Шапку долой!» — это врачу, хирург — руки заняты — трясет головой, сбрасывая на пол фуражку. «Шапки долой!» — несется дальше генерал или гевальдигер просто. «Застегнуть мундиры! Шпаги надеть!» Придумали — кому только в голову пришло! — нацепить на медиков пренеудобные шпаги на портупее — изволь оперировать, когда шпага мешается в ногах, тянет плечо, оттопыривает сюртук! А явится наивысшее начальство, в струнку вытягиваются и гевальдигеры, и генерал-гевальдигеры, и сам генерал-штаб-доктор.

— Как прибывают больные?

— По четыреста, ваше сиятельство.

— По четыреста в сутки?

— В неделю, ваше сиятельство.

— В неделю?..

— Виноват, ваше сиятельство, в месяц...

Ну нет! Пирогов холуйской арифметике не обучен. Круто поворачивается навстречу главнокомандующему — руки в карманы, шинель нараспашку, на голове фуражечка, да такая, будто на ней месяц сидели, не слезая, — вот вам рапорт, ваше сиятельство: четыреста раненых в день — в день четыреста! Так-то! А крестик, что в руке задрожал, можете отдать генерал-гевальдигеру. Или просто гевальдигеру. Когда солдат, которому только что ногу отрезал, достает из тряпицы два рубля серебряных и один тебе протягивает: «Возьми половину добра моего!» — это награда почище вашего ордена. «Сердце замирает, когда видишь перед глазами, в каких руках судьба войны», — писал Пирогов из Севастополя.

Он писал, что ведет на войне две войны. В одном строю с солдатами и матросами против неприятеля, осадившего Севастополь. И против неприятеля, осевшего в Севастополе. Один бил по нему ядрами и бомбами, прямым попаданием разнес комнату, в которой жил Пирогов (благо в отсутствие хозяина); другой палил в спину картечью клеветы, помех, пакостей. Но Пирогов умел драться и побеждать. Он все делает, чтобы вырвать судьбу города и его защитников из холодных, недобрых рук. Он пишет важному чиновнику, задержавшему снабжение госпиталей дровами: «Имею честь представить вам на вид...»; он пресекает вмешательство начальника штаба в работы по оборудованию госпиталей: «Вы в этом смысле меньше моего...» Он получает выговоры от главнокомандующего, даже от государя. Он не тужит: правда для него дороже высочайшего благоволения. Вон Павел Степанович Нахимов, встречая по дороге с бастионов очередного флигель-адъютанта, специально посланного к нему с государевым «поклоном и поцелуем», просит в другой раз прислать наконец взамен поцелуев пороху и

сотню ведер капусты. И Пирогов кричит, размахивает руками, грозит карами земными и небесными, пишет дерзкие не по «форме» докладные, подает требования, от которых ненавистью загораются беспечные глаза и два пальца, дрогнув, останавливаются на пути к лихо заломленному козырьку.

«Я бомбардирую их так же, как неприятель бомбардирует Севастополь!» — не скрывая, пишет из осажденного города Пирогов.

С неприятелем, засевшим в штабах и ведомствах, не только делом сражается Пирогов, но словом, которое в устах его и под пером его тоже дело, и дело великое. Слово Пирогова, ученого, поэта, трибуна, здесь, в Севастополе, в огне Крымской войны, обрело алмазную крепость, яркость и остроту.

Здесь, в Севастополе, внутренний слух его и звучание наружного мира как бы уравнились, здесь впрямь грозное море шумело, земля лопалась под ногами, перемещались, оглашая громким своим говором все вокруг, людские толпы, и люди здесь, те, чье зрение не померкло от безразличия, смотрели на звезды, когда бомбы рвались под ногами и пули высекали из камней острые брызги.

У Пирогова не было в Севастополе свободных минут, чтобы писать письма, но он писал их, потому что не безделицами, а важным делам почитал эти послания к жене, которые современники и потомки окрестили «Севастопольскими письмами».

Он только прибыл в Севастополь, только первую записочку сочиняет «милый Саше», но уже спешит уведомить «душку», чтобы «отчеты» его она давала другим для прочтения. И в следующем письме опять: «Пишу, милая Саша, не для одной тебя, а и для других добрых людей...» И эдак все время: «Не пили меня, что я пишу для других».

Нет, не для «душки» и «несравненного ангела» Александры Антоновны исписывал Ппрогов десятки листов бумаги в душном от скопления людских тел, запаха пота, крови, оплывающего стеарина свечей, сотрясаемом канонадой здании перевязочного пункта, в дырявой палатке у изготовленного из доски и бочонка стола, в хибарке с закопченными окнами, где остался на ночлег, — в углу на ссыпанном горкой овсе лицом вниз, широко раскинув ноги, спит сопровождающий Пирогова фельдшер.

Вся Россия читала ходившие по рукам ппроговские письма и в них правду о Севастополе: о героизме матросов и солдат, о стойкости батарей и бастионов, о Павле Степановиче Нахимове и дорогих сердцу великого хирурга сестрах милосердия, о подвиге и самоотвержении на каждом шагу — и вместе о гибельном безразличии, воровстве, вранье, холуйстве, об этом бревне под ноги всякому благому делу, о том, наконец, что вопреки ядрам и пулям, вопреки себялюбию и неверию, вопреки недостатку во всем, вопреки пустой «форме», рвущейся господствовать, силой великого духа, того, что казаться не умеет, умеет только *быть*, стоит Севастополь.

Это в «Севастопольских письмах» произнесено Пироговым:

«Тому, у кого не остыло еще сердце для высокого и святого, нельзя смотреть на все, что делается вокруг нас, односторонним эгоистическим взглядом...»

Это в «Севастопольских письмах»:

«Мы живем на земле не для себя только; вспомни, что перед нами разыгрывается великая драма, которой следствия отзовутся, может быть, через целые столетия; грешно, сложив руки, быть одним только праздным зрителем».

Это из «Севастопольских писем», наконец:

«Я люблю Россию, люблю честь родины, а не чины; это врожденное, его из сердца не вырвешь и не переделаешь...»

«Там Пирогов!..»

Еще из письма Пирогова: «Покуда я чувствую, что здесь полезен и покуда меня не прогнали отсюда, я должен начатое уладить и не возвращаться домой без результата; я ехал в Севастополь не для того, чтобы только сказать, что был здесь».

И еще: «Все, что я в состоянии был сделать, я сделал для Севастополя...»

Мартовская бомбардировка 1855 года была проверкой этого *всего*, что в состоянии был делать и сделал Пирогов. За девять дней неприятельская артиллерия обрушила на город 168 700 снарядов, осаждавшие забрасывали русские позиции бомбами, прошивали штуцерными выстрелами; Пирогов горько пошучивал, что для защитников Севастополя возможность умереть возрастает до 36 400 раз в сутки — по числу вражеских выстрелов.

Главный перевязочный пункт помещался в Дворянском собрании. В покоях, где некогда — и недавно совсем — сверкало золото, лучились гранями драгоценные камни, сияли, переливаясь, шелка, теперь тянулись от стены до стены тесно составленные рядами унылые солдатские кровати, покрытые серыми казенными одеялами; где веселье царило и радостное возбуждение, теперь властвовали боль, ужас, смерть; там, где музыка гремела, теперь слышались вопли и стоны; в танцевальном зале лежали безногие, и паркет, недавно натертый до скользкости льда, до зеркального блеска, по которому, словно и не касаясь его, пролетали легкие ножки одушевленных танцем дам, в который лихие кавалеры впечатывали четкий, приправленный звоном шпоры шаг, теперь покрывала кора засохшей крови, и свежие густые капли ее, точно пунктир на карте, указывали путь в операционную.

Мартовская бомбардировка была испытанием, которого ждал Пирогов со дня приезда в Севастополь. Он встре-

тил ее во всеоружии. К этому времени он, продираясь сквозь бесчисленные преграды, перешагивая через них, ломая их яростно, сумел воплотить в жизнь гениально простую идею «сортировки» раненых.

Носилки, носилки, носилки... Стационарные, парусиновые, и наспех сделанные из тюфячного мешка с четырьмя завязанными по углам узлами, чтоб нести удобней, и вовсе полевые — шинель с продетыми в рукава ружьями, — и вот ступить некуда: пол устлан сотнями окровавленных людей. Один истошно кричит, крепко сжимая в руке другую, оторванную ядром, руку, второй стонет в забытии, третий, приподнявшись на локте, нетерпеливо требует помощи, четвертый умирает с мучительным хрипом... Суетятся врачи, мечутся фельдшера, служители хватают первого попавшегося раненого (того, что с краю), кидают на операционный стол... Так было прежде, так было бы и здесь, в Севастополе, если бы не пироговская «сортировка». Но...

«Стоп!» — приказывает «сортировка». Суматоха — это силы, потраченные зря, дополнительные врачи и сестры, ошибки в диагнозе и лечении. Не хвататься за нож, не определив умом направления действий и тем не уравновесив голову и руку. Уничтожить хаос — вот важнейшая «первая помощь».

Пирогов приказал сортировать раненых на четыре категории.

Первые — безнадежные. Им средства для успокоения последних страданий, заботливые сестры, священник.

Вторые — неотложные: этих на стол, чтобы не оказались в первой категории.

Третьи — те, что могут повременить с операцией или вовсе без нее обойтись: им хороший уход, а спадет напряженность первых часов и дней, внимательный осмотр, тщательное лечение,

Четвертые — легкораненые. С этими просто — к фельдшерам на перевязку.

«Сортировка» требует места. Нужна площадь, чтобы принять сотни, тысячи раненых. Пирогов добивался четырехсот запасных палаток на случай бомбардировки или сражения. Он предложил разборные бараки: из привезенных щитов быстро собирали барачный городок. Он каким-то чудом выискивал «излишек» площади в переполненных зданиях севастопольских госпиталей. Прифронтовые госпитали, по замыслу Пирогова, должны были стать чистым проточным озером, а не стоячим тинистым прудом. Тех, кому предстояло долгое лечение, он советовал непрерывно отодвигать от театра войны, отправлять все дальше в тыл: в районе боев необходимо оставлять место для наплыва новых раненых.

«Сортировка» требует быстроты. Нужно срочно оперировать неотложных и, пока не поступили новые неотложные, заняться теми, кто мог ждать. Вроде бы бесспорно: чем меньше врачей на перевязочном пункте, тем больше больных достается каждому на долю. В Крыму привыкли: один хирург — сто, двести, пятьсот раненых. Пирогов все перевернул с головы на ноги. Он приставил трех врачей к одному раненому и выиграл в скорости: великие полководцы умеют обходиться малыми силами, обращая их в свое преимущество. Врачи у Пирогова работали вместе и не мешали друг другу: первый давал хлороформ, второй оперировал, третий перевязывал рану.

В Севастополе Пирогов окончательно перечеркнул врачебную суматоху на поле боя: под обстрелом, на грязной земле врач может сделать не больше, чем санитар. Приближать медицинскую помощь к раненому — это не врача тащить на передовую, а спешно уносить раненого из-под огня. Три врача на поле боя — три затерявшиеся песчинки, то ли дело те же три врача у одного операционного стола!..

Пирогов низверг хаос, казавшийся неизбежным: в

«сортировке» раненых, в точной расстановке врачей и строгом задании для каждого была конструкторская точность, нечто «фабричное» — это слово было тогда в ходу у Пирогова, его помощников, врачей, перенимавших его дело. Пирогов с часами в руках высчитывал среднюю скорость работы хирургов. При сплошном наплыве раненых можно было на трех столах сделать сто ампутаций в течение семи часов.

За девять дней мартовской бомбардировки через главный перевязочный пункт прошло около пяти тысяч человек. Домой Пирогов не уходил: изредка брел отдохнуть к забытому в углу залы тонконогому ломберному столику — на зеленом сукне, поверх записанных некогда мелом и так и нестертых цифр карточных долгов и выигрышей (жив ли кто из них — бывших удачников и должников?) стояли коробки с бинтами и корпией, медный чайник, постоянно наполненный теплой водой для обмывания ран; в спертom воздухе свеча горела тускло. Надвинув фуражку на самые глаза, Пирогов опускался в кресло, резко чернели глубокие борозды на щеках, виски отливали тусклым серебром. Спал и не спал — не то чтобы слышал и видел, нутром чувствовал все вокруг. Вдруг вставал стремительно, одергивал фуфайку; бросая на ходу резкие, точные замечания, возвращался к своему столу, над которым висел удушливый запах крови и расплавленного стеарина.

«Вы сходите на перевязочный пункт, в город! Там Пирогов; когда он делает операцию, надо стать на колени», — писал очевидец. Некрасов напечатал эти строки в своем «Современнике» и от себя прибавил: «Выписываем эти слова, чтобы присоединить к ним наше удивление к благородной, самоотверженной и столь благотворной деятельности г. Пирогова — деятельности, которая составит одну из прекраснейших страниц в истории настоящих событий».

Подвиг медика и человека

В мае 1855 года Пирогов отправился в Петербург. Не потому, что сделал все, что мог, для Севастополя — пусть сделает лучше кто может! Он сам хотел сделать лучше и больше, чем мог.

Он отправился не только с женой повидаться и с детьми и проверить, как изготавливаются новые препараты для «ледяной анатомии», — он отправился к военному министру, к великой княгине, к новому царю Александру Второму добиваться, требовать, доказывать необходимость коренных перемен в организации медицинской службы на войне. К этому времени он вывел одно из важнейших положений своей военно-полевой хирургии: «Не медицина, а администрация играет главную роль в деле помощи раненым и больным на театре войны». Он отправился в Петербург, чтобы вырвать военную медицину из-под власти беспечных генералов и бойких гевальдигеров. Шел восьмой месяц обороны города. Севастополь еще стоял. Еще можно было что-то сделать для Севастополя. Пирогов отправился в Петербург, зная, что вернется, что, может быть, успеет вернуться.

Он вернулся в конце августа, в тот хмурый день, когда остатки молчаливой русской армии по мосту, наведенному через бухту, уходили из Севастополя. Пирогов смотрел в зрительную трубу на замолкший Малахов курган, на выгоревшие пустые улицы Корабельной стороны, на обжитое им Дворянское собрание, от которого остались только стены да несколько колонн.

Пирогов добился права подчиняться непосредственно главнокомандующему и получил в полное свое распоряжение все перевязочные пункты и транспортные средства. Военный министр отправил было под сукно пироговскую докладную, но при дворе сочли, что отсутствие Пирогова в Севастополе «ощутительно». Государь с недоу-

вольствием встречал в дворцовых переходах непочтительного профессора в ужасном длиннополом сюртуке взамен форменного мундира, не слишком новом и не слишком опрятном. Все почувствовали облегчение, когда он умчался обратно в Крым, перестал являться на аудиенции, неуступчивый, со своим резким голосом и невозможной откровенностью речи.

Пирогов смотрел в трубу на оставленный уже Севастополь. Нахимов до этого дня не дожил; 28 июня на Малаховом кургане поднялся во весь рост перед французской батареей: «Они сегодня довольно метко целят» — и упал, скошенный пулей. В записной книжке адмирала обнаружили среди прочих и такие пометки: «проверить аптеки», «чайники для раненых», «колодцы очистить и осмотреть», «лодку для Пирогова»...

Всю ночь уходила из Севастополя молчаливая русская армия. Разыгрался ветер. Плавающий мост качало, его захлестывали волны; под тяжестью повозок и орудий дощатые звенья моста, положенные на осмоленные бочки, внезапно погружались в море. Солдаты и матросы шли молча, не замечая, что промокли, что продрогли под порывистым северным ветром. Позади в ленивом мерцании багровых углей костром угасал Севастополь. Позади остались триста сорок девять дней героической обороны. «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский», — пророчил Лев Толстой. Крепко вцепившись, чтоб не смыло, в высокий борт санитарной фуры, последней из сестер последовала по мосту Екатерина Бакунина...

Поток раненых катился на север. Пирогов встречал его в Симферополе. Пользуясь полученными в Петербурге полномочиями, он отобрал транспортировку раненых у интендантов и передал медикам. Он объявил войну «холодным и нежилым притонам» — путевым ночлежкам; от Симферополя до Перекопа устроил тринадцать этапных пунктов — там хозяйничали сестры: держали наготове ме-

дикаменты, белье, кипятили чай, готовили горячую пищу.

Осенью 1855 года в Симферополь прибыл Александр Второй. К государеву приезду во всякой команде и во всяком ведомстве белили фасады, прикрывали гирляндами дыры, до блеска ваксили драные сапоги. Пирогов писал из Крыма: «Государь хотел остаться всем довольным и остался...» Когда царь с многолюдной, шумно и весело, будто забыли про войну, переговаривающейся свитой появился в госпитале, Пирогов к нему не вышел: не о чем ему было говорить с царем. Все, что хотел, он уже сказал летом, в столице, прямо во дворце, призванный для аудиенции: сказал о героях — только смерть заставляет их сложить оружие, о безразличии и себялюбии титулованных командиров, сдавших Севастополь до начала его обороны, о преградах на пути всякого доброго дела, о воровстве, проевшем, как ржавчина, и громадный армейский склад, и маленький солдатский котелок. Царь сердился, тряс головой, не желал слушать: «Неправда! Неправда! Не может быть!» Пирогов озлился и, позабыв этикет, отрезал:

— Правда, государь, правда! Я сам это видел!

Из статьи Некрасова в «Современнике»: «Одно из самых отрадных убеждений, что всякая личность, отмеченная печатью гения, в то же время соединяет в себе высочайшее развитие лучших свойств человеческой природы — эта истина как нельзя лучше оправдана г. Пироговым... Это подвиг не только медика, но человека... Нет солдата под Севастополем (не говорим уже об офицерах), нет солдатки или матроски, которая не благословляла бы имени г. Пирогова и не учила бы своего ребенка произносить это имя с благоговением. Пройдет война, и эти матросы, солдаты, женщины и дети разнесут имя Пирогова по всем концам России, оно залетит туда, куда не заглядывала еще ни одна русская популярность...»

Вопросы жизни

«— К чему вы готовите вашего сына? — кто-то спросил меня.

— Быть человеком, — отвечал я.

— Разве вы не знаете, — сказал спросивший, — что людей собственно нет на свете; это одно отвлечение, во все не нужное для нашего общества. Нам необходимы negociанты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди.

— Правда это или нет?»

Этот разговор, в самом деле произошедший или, быть может, рожденный в мысленных спорах с бесчисленными противниками, заполнявшими мир вокруг, — от какого-нибудь придирчивого классного надзирателя, следившего за благонаправлением и успехами в поведении сыновей, до университетских профессоров и действительных академиков, главнокомандующих, министров, государя, — Пирогов взял эпиграфом к своему трактату «Вопросы жизни».

Итак: правда это или нет? Что это за понятия такие — «человек», «люди», если взглянуть на них не со специальной, анатомической, допустим, пироговской точки зрения — череп, позвоночник, конечности, мышцы, сосуды, нервы, — а с точки зрения общественной? Вон за окном дворник в фартуке с медной бляхой улицу метет, мимо, по тротуару, звеня шпорами, бодро шагает лехотный поручик, а по мостовой в коляске катит важный чиновник, служащий по судебному ведомству, — имеем ли право уравнивать всех общим понятием «человек», «люди»? Дворника с метлой и действительного статского советника, braveго поручика (днем на плацу: «Шагом марш!», «Колли!», «Руби!», вечером в собрании первый хват в мазурке) и хирурга, склонившегося над операционным столом? Разве не занимает каждый четко определенное место винтика, шпенька, колесика в едином и огромном обществен-

ном механизме, и разве жизнь общества не оттого зависит, как держится этот шпенец, как крутится колесико? Разве не самое важное для общества, чисто ли дворник метет, умную ли бумагу составил статский советник, хорошо ли учит солдат поручик, правильно ли оперирует хирург? А коли так, не отвлеченность ли в самом деле это «быть человеком», не полезнее ли быть дворником, офицером, врачом, юристом? Но если вообразить себя лишь винтиком или колесиком, если свести свою жизнь к хорошо составленной бумаге, искусно сделанной операции, вовремя поданной команде, чисто выметенной мостовой, то не сделаешься ли ты таким же отвлечением, как анатомическое — скелет, мышцы, кожа и проч.? Нет, люди в обществе соединены, объединены не связью шпенок и колесиков, как ни стараются подчас те, кто мнит себя организаторами общества, ограничить их лишь такой связью, — людей связывает, объединяет то, что все они, самые разные, способны задаваться вопросами: «В чем цель нашей жизни? Каково наше назначение?» — главным вопросом задаваться: «Как жить?» Людей связывают, объединяют высокие прозрения: «Я живу на земле не для себя только», «Люблю честь Родины», «Нельзя смотреть вокруг односторонним эгоистическим взглядом»... Одна беда: воспитание и деятельность человека в обществе построены так, что его редко тревожат вопросы о смысле жизни и высокие прозрения редко осеняют его.

Школа не открывает человеку смысл высоких истин, о которых привычно твердят преподаватели, которые изложены в параграфах учебников, высокие слова затверждаются, но не становятся основой жизни; самостоятельная же деятельность окончательно развеивает благие порывы — общественный механизм, каждый шпенец, каждое колесико его, действует по житейскому правилу: живи для себя — не для общества, думай не об обществе, а о себе. Но в обществе, где каждый думает о себе, живет для

себя, полагая, что это не мешает ему быть хорошим чиновником, врачом, офицером, невозможны подлинно великие свершения. Тот, кто не убежден, что живет на земле не для одного себя, что честь родины дороже чинов, будь он и семьи пядей во лбу, доведи он до совершенства свое умение на избранном поприще, ни один Севастополь не отстоит. Общество прежде всего должно учить человека не морскому или военному делу, не медицине, не законоведению — оно должно его научить *быть человеком*, человеком истинным, говорит Пирогов, не просто зазубрившим на уроках прекрасные истины, но *убежденным*, что эти преподанные истины действительно прекрасны, что только им необходимо следовать на каждом шагу.

Тут опять про *быть* и *казаться*. Чтобы осмыслить высокие истины, сделать их неизменным своим убеждением, частицами собственной души, чтобы напряженно искать и находить ответ на вопрос, зачем и как жить, человек должен мучительно думать, пробовать, ошибаться, снова пробовать, испытывать взлеты и падения, обретать надежды, разочаровываться, ломать себя, спорить с другими, быть готовым перед целой ордой врагов отстаивать свои убеждения, гибнуть за них и побеждать, — это пушкинское: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!..» Увы, говорит Пирогов, весь уклад общества, налаженный для изготовления моряков, врачей, негоциантов, не оставляет в душе человека места, а в жизненном его распорядке времени для исканий, заранее обрекает его на то, чтобы *казаться*, а не *быть*. У человека отнимается возможность решать вопросы жизни, в муках рождать убеждения, отнимается возможность *становиться*, *быть*, он обрекается на то, чтобы постоянно *казаться*, как обрекается на постоянную смену одежек, мундиров.

Едва частица природы, некая совокупность природного вещества, оказывается человеком, у него — этого нового, явившегося на свет человека — появляется, по слову Пирогова, желание *осмотреться*. И что же?..

Из пироговского трактата «Вопросы жизни»:

«Осмотревшись, вы видите себя в мундире с красным воротником, все пуговицы застегнуты, все как следует, в порядке. Вы и прежде слышали, что вы мальчик. Теперь вы это видите на деле.

Вы спрашиваете, кто вы такой?

Вы узнаете, что вы ученик гимназии и со временем можете сделаться ученым человеком — ревностным распространителем просвещения: студентом университета, кандидатом, магистром и даже директором училища, в котором вы учитесь. Вам весело.

Вот первый вид.

Осмотревшись, вы видите себя в мундире с зеленым воротником и с золотой петлицей.

Вы спрашиваете, что это значит?

Вам отвечают, что вы ученик правоведения, будете, наверное, блюстителем закона и правды, деловым человеком, директором высших судебных мест. Вам весело и лестно.

Вот второй вид.

Осмотревшись, ваш взор останавливается на красном или белом кантике мундира и воротника. Вы тоже спрашиваете.

Вам отвечают громко, что вы назначаетесь для защиты родной земли — вы кадет, будущий офицер, и можете сделаться генералом, адмиралом, героем. Вы в восхищении!

Вы осмотрелись и видите, что вы в юбке. Прическа головы, передник, талья и все — в порядке. Вы и прежде слышали, что вы девочка, теперь вы это видите на деле.

Вы очень довольны, что вы не мальчик, и делаете книксен.

Вот четвертый и также еще не последний вид.

Узнав все это, вы спрашиваете, что же вам делать?

Вам отвечают: учитесь, слушайтесь и слушайте, ходите в классы, ведите себя благопристойно и отвечайте хорошо на экзаменах...

Проходят годы. Выросши донельзя из себя, вы начинаете уже расти в себя.

Вы замечаете, наконец, что вы действительно уже студент, окончивший курс университета, правовед, бюрократ, офицер, девушка-невеста.

На этот раз вы уже не спрашиваете, кто вы такой и что вам делать...

Привилегированные инспектора, субинспектора, экзаменованные гувернеры, гувернантки, а иногда даже сами родители смотрели за вашим поведением. Науки излагались вам в таком духе и в таком объеме, которые необходимы для образования просвещенных граждан. Безнравственные книги, остановленные цензурой, никогда не доходили до вас. Отцы, опекуны, высокие покровители и благотворительное правительство открыли для вас ваше поприще.

После такой обработки, кажется, вам ничего более не остается делать, как только то, что пекущимся о вас хотелось, чтобы вы делали».

Учителя, офицеры, юристы, чиновники плотно заполняют гимназии, казармы, суды, департаменты. Меняются мундиры, выпушки, погончики, петлички — все *форма*: снаружи форма и под формой форма, видимость, пустое казаться. Винтики, шпеньки, колесики на месте, механизм действует как положено, людей — *людей истинных* — не видно.

Воспитание людей истинных — это не инспектора и гувернеры, не казенные учебники, не отцы-благотетели, которые заставляют зубрить к экзамену про звезды, но учат денно и нощно смотреть под ноги, не упустить медную копейку на дороге. Общество обязано не о колесиках и винтиках заботиться, не наружное, мундирное, воспитывать и развивать в каждом своем члене, а внутреннее, су-

щественное: тогда «у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы, а главное, у вас будут люди и граждане».

Страница истории

«С одной стороны, наше патриотическое чувство было страшно оскорблено унижением России, — писал после Крымской войны историк С. М. Соловьев, — с другой, мы были убеждены, что только бедствие, и именно несчастная война, могло произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение».

Но патриотическое чувство было не только унижено несчастным итогом войны — оно было необыкновенно возбуждено зрелищем величия народа, ежедневно, ежедневно и непрестанно творящего подвиги, как бы сплавленные в единый подвиг. Величие народа, его готовность и способность в неимоверно тяжелых условиях — вопреки им — творить подвиг как раз и внушали надежду на «спасительный переворот», рождали уверенность, что такой народ достоин лучшей судьбы и что он должен получить ее.

Среди прочих «злоб дня» неотложной и важной выдвинулась задача воспитания завтрашнего человека, новых поколений. «Вопрос о воспитании сделался современным, жизненным вопросом, обратившим на себя внимание лучших людей нашего общества», — отмечал Писарев. Лучшие люди видели за словом «воспитание» не пустую «форму», не набор положенных сведений из положенных наук, как видели не форму гимназическую или студенческую, видели, по русской пословице говоря, не то, что на мундире, а то, что под мундиром, — созидание ума и сердец сограждан, подготовку для страны будущих деятелей. Педагогическое движение бурливой рекой вливалось в многоводный поток общественного движения. И од-

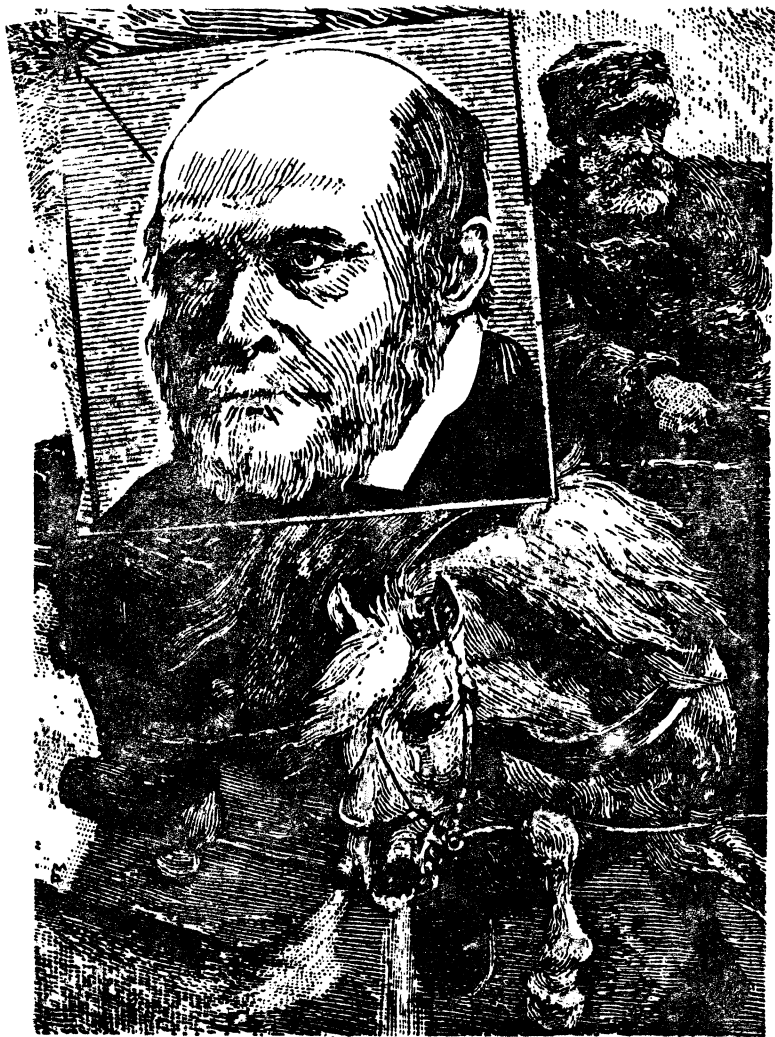
ним из свежих ключей, давших начало этой реке, стал наконец-то в 1856 году напечатанный трактат Пирогова «Вопросы жизни». Время его пришло: никогда не были «Вопросы жизни» так кстати.

Из отзыва Чернышевского: «О сущности дела, о коренных вопросах образованному человеку невозможно думать не так, как думает г. Пирогов... Тут все — чистая правда, — правда очень серьезная и занимательная не менее лучшего поэтического вымысла».

Из отзыва Добролюбова: «Все, читавшие статью г. Пирогова, были от нее в восторге... Статья г. Пирогова... не старается подделаться под существующий порядок вещей, а, напротив, бросает прямо в лицо всему обществу горькую правду».

Революционные демократы поддержали в «Вопросах жизни» резкую критику государственной системы воспитания, благородный призыв растить новых, убежденных людей, приученных «с первых лет жизни любить искренне правду, стоять за нее горою». И все же, нахваливая Пирогова, Чернышевский отметил — вскользь, не разъясняя — «некоторые частности» в его рассуждениях, с которыми можно и не согласиться. И Добролюбов, привычно маскируя речь, чтобы избежать красного цензорского карандаша, писал, что «истинных людей», пожалуй, слишком долго ждать придется, если не «заставить общество почувствовать нужду и возможность изменения в принятых неразумных началах». Тогдашнему российскому читателю не пужно было объяснять, что означает это «изменение неразумных начал»: для Добролюбова «спасительный переворот» — это переворот революционный.

Здесь грань между его рассуждениями и рассуждениями Пирогова. Пирогов не берется *заставить* общество изменить направление: это «есть дело промысла и времени». А Добролюбов не желает надеяться на справедливость промысла и ждать доброты времени.



Пирогов уходит из медицины

Да такое не то что вымолвить, и представить-то себе невозможно! Шутка сказать — *Пирогов* уходит! Это был подвиг — сделаться *Пироговым*, мальчиком начать служение науке, юношей уже обогатить науку своим служением, достигнув зрелости, каждый год, каждый месяц и день дарить людям новые и новые открытия, — любого из его открытий другому хватило бы и на прижизненную славу, и на бессмертие в будущем. Это был подвиг — *быть Пироговым*, жить для людей, открывать для них новые земли, постоянно нести им благо и испытывать острое чувство счастья от счастья других. Но — уходит! Ему, по крайней мере, кажется, что уходит.

Как представить себе *Пирогова*, в последний раз вошедшего в операционную? Вот медленно, словно стараясь потянуть подольше, моет руки в тазу, вот, жадно вбирая ноздрями сладковатый запах, смачивает хлороформом вчетверо сложенный кусок фланели, вот берет нож, придирчиво оглядывает его, подступив к больному, на мгновение застывает неподвижно и чувствует — сердце качнулось в груди и в ушах обрушился гул как бы внезапно услышанного сражения... И вот он уже снова споласкивает руки в тазу, и фельдшер, устремляя взгляд поверх склоненной его головы, льет воду из чайника в поставленные его ладони и так же, избегая смотреть ему в лицо, протягивает полотенце — одним быстрым движением он вытирает руки, бросает фельдшеру полотенце обратно, чуть горбясь, направляется к двери. Он шагает по коридору вопреки обыкновению неторопливо и размеренно, шум в его ушах затихает понемногу, точно сражающиеся армии удаляются куда-то на край поля, но шагов своих он не слышит, как не слышит ударов сердца, только всем телом ощущает его качание. На крыльце он останавливается — опять на мгновение всего, взглядывает вверх, на густые кроны посаженных во дворе дерев, сквозь которые

лишь кое-где сверкающими брызгами просвечивает небо, — Пирогов помнит эти деревья тонкими голыми прутиками, только что воткнутыми в землю. Фельдшер выбегает на крыльцо вслед за ним с позабытой им фуражкой в руках — Пирогов принимает у него фуражку, решительно натягивает на совсем почти облысевшую голову и, не оборачиваясь, идет прочь со двора...

Это был подвиг — сделаться и быть *Пироговым*, но не подвиг ли в благодатную пору сбора урожая, когда жизнь клонится к закату, когда самое время бы — для другого! — на лаврах поживать, тешиться славой, карету четверней эту чертову наконец завести, не подвиг ли в такую пору вдруг расстаться со всем честно нажитым, уйти из прошлого, из настоящего в будущее, чтобы новые деревья сажать, не зная, суждено ли увидеть, как войдут в рост, избрать новое поприще и жизнь словно сначала начать, с первого шага, не подвиг ли, когда до звезды рукой подать, снова на землю, снова новые земли открывать — и снова к звездам.

Он уходит из операционной, из палат и коридоров военно-сухопутного госпиталя, из Медико-хирургической академии, а спустя три месяца или два, быть может, он, пугая господ директоров и инспекторов, появляется в классах то одесской гимназии, то симферопольской, кишиневской и херсонской, в неказистых уездных училищах, в пансионах придирчиво пробует обед, приготовленный для воспитанников, осматривает постельное белье, проверяет на ощупь плотность одеял, заглядывает под кровати, за шкафы — чисто ли в помещениях; господа директора и инспектора, опасаясь неожиданных его наездов, приказывают учителям постоянно являться на уроки в парадной форме — служащие по министерству народного просвещения мундир имели темно-синего сукна с темно-синим же бархатным воротником и латунными пуговицами. Но Пирогов, озадачивая директоров и инспекторов, возникает перед ними в одежде совершенно необыкновен-

ной, а при его чине, должности и славе попросту немислимой: на нем не то сюртук, длиннополый и не в меру широкий, не то пальто, не то вообще халат, запыленные простые сапоги и картуз — в таком прасол какой-нибудь гонит стадо на ярмарку; и все в нем непривычно, все не как принято — от представлений и рапортов отмахивается, быстро, порывисто — в походке важности никакой — шагает в класс, учитель поначалу и в толк не возьмет, кто перед ним — неужели его превосходительство? — а превосходительство от стула за учительским столом отказывается, садится, как ученик, за парту на свободное место, отличных учеников, специально припасаемых для подобного случая — товар лицом показать, не желает слушать, просит продолжать урок, вместе со всеми читает по книжке или прилежно решает задачки, иногда, впрочем, просит у преподавателя разрешения добавить кое-что к его объяснениям: на уроке естественной истории, к примеру, достает из кармана сорванную у забора лебеду, прохаживается между партами, рассказывает про корень и стебель, про форму и расположение листьев, соцветий, простой камешек положит на ладонь — оказывается, не просто камешек — минерал; после его отъезда ученики спрашивают: «Когда еще попечитель приедет?»

С осени 1856 года Николай Иванович Пирогов — попечитель Одесского учебного округа.

Округ огромен: губернии Херсонская, Екатеринославская, Таврическая, Бессарабская, градоначальства Одесское и Таганрогское — все то, что объединялось под именем Новороссии. Кое-кто на самом верху, кажется, всерьез рассчитывал, что неудобный этот Пирогов, отслужив положенный срок по медицинской части, принял важный пост, дабы благодарно и благодушно доживать в почете, — все так делали, но уже через три месяца после вступления в должность новый попечитель отправил в эти самые верхи докладную записку, озаглавленную по-пиро-

говски прямо и точно, без обычных в сношениях с начальством почтительностей и успокоительных обиняков: «О ходе просвещения в Новороссийском крае и о вопиющей необходимости преобразования учебных заведений».

Какая возможность представлялась для безмятежной и почтенной жизни: если расположение духа и погода не препятствуют, надел мундир с орденами, приказал заложить экипаж, отправился на часок-другой в присутствие, чиновники подносят бумаги для просмотра — глянул бегло, поднял бровь: «Это к нам пишут или мы пишем?», директора гимназий являются представляться или с докладом, махнул милостиво ручкой, отпустил, опять же по настроению заехал сам в гимназию, вперед послав чиновника с предупреждением, директор, инспектора, педагоги — все в парадной форме, топчутся у входа, ведут торжественно куда-нибудь в класс, детей к доске выпускают самых примерных, послушал с четверть часа, опять же кивнул приветливо — и домой обедать с полным удовлетворением, оттого что дела по вверенному ведомству обстоят наилучшим образом, — какая возможность открывалась...

А он за первый год службы на новом поприще трижды объехал учебный округ, трясся в тарантасе по бездорожью губерний Херсонской и Екатеринославской, Бессарабии и Крыма, томился без сна на постоянных дворах, мучаясь от дурной пищи, от жесткого топчана, от назойливых блох, его заросший грязью тарантас объявлялся в навсегда, казалось, забытых богом местечках, — там выше исправника никого из губернских властей и не видывали, а перед исправником трепетали что перед государем-императором.

Кому в голову могло прийти, что его превосходительство, чуть пригнувшись, протиснется в тесную дверь лагуги, где в общей комнате, за одним длинным столом примостились на лавках и едва научившиеся ходить на своих

двоих малыцы, и великовозрастные — женить пора — юноши, где бедолага-учитель в ветхом мундиришке — парадный справить и за десять лет не хватило бы грошового жалованья — в один и тот же час одних учит буквам и складам, другим дает задачки по арифметике, третьим рассказывает из географии и отечественной истории, — кому в голову могло прийти, что его превосходительство появится в полутемной, неуютной комнате, где пыль с полу сметают в щели для тепла, покажет руками, чтобы продолжать урок, тихо присядет на край лавки, учителя ни разу не перебьет, внимательно дослушает до конца, потом поглядит буквы в тетрадах у малышек, час-другой побеседует со старшими, про жизнь расспросит каждого и про учение и выведет, и во всеуслышание объявит по всему громадному своему округу в печатном циркуляре, что нашел детей бедных родителей более ревностными к труду.

Если учитель не синий мундир с латунными пуговицами, а человек, он во всю жизнь не позабудет, как сам Пирогов, осмотрев школу, отправился к нему, простому учителю, ночевать, от кровати отказался и, лежа рядом на полу, всю ночь беседовал с ним о разном, советовался, делился мыслями. Если учитель не мундир, а человек, он во всю жизнь не позабудет, как Пирогов, сердито не поверив вначале, что ученики могут переводить с латинского Цицерона и Тацита, встал в конце урока и вслух (сам Пирогов!) признался перед всем классом: «Я был не прав. Я вижу теперь, что ваши ученики в состоянии читать и Тацита. Благодарю вас очень». Если учитель не мундир, а человек, он во всю жизнь не позабудет, как Пирогов отправился с его учениками собирать гербарий, а после, склонив голову, аккуратнейше прикреплял вместе с ними растения к листам картона и не то что всем видом своим показывал, но несомненно убежден был, что занят важнейшим в своей жизни делом.

Назначая Пирогова попечителем, власти предложили

ему почетную мундирную должность — он превратил ее в исполнение высокого человеческого долга. Пирогов ушел из медицины, потому что хотел лечить больное общество. Он только не знал, что и тут нужны хирурги.

Человек в полном смысле слова

Хозяином Новороссийского края был генерал-губернатор граф Строганов. На старания нового попечителя генерал-губернатор до поры поглядывал с усмешкой. Охота пуще неволи: пусть отбивает бока в дурацком своем тарантасе господин знаменитый профессор, пусть чешется на постоянных дворах, хлебает пустые щи, в холодной хибарке решает с чумазыми оборвышами задачки на устный счет — граф Строганов не верил в необходимость благодетельных перемен, ради которых так старался профессор Пирогов.

Пирогов просил генерал-губернатора передать в учебное ведомство издание газеты «Одесский вестник». Газетенка еле теплилась, питая читателей сведениями о биржевом курсе, о числе судов, бросивших якорь в порту, об официальных церемониях и процессиях, об именитых господах, прибывших в город с севера посуху или с юга морским путем. Генерал-губернатору было любопытно, что собирается делать с хилой газетенкой этот беспокойный попечитель. Граф не оценил пироговской решительности и силы.

«Как ни просторны новороссийские степи, но ограниченные, частные интересы, с узкими взглядами на жизнь, в них могут так же гнездиться, как и в тесных улицах столиц» — вот как затряс, затормошил степные просторы Новороссии пироговский «Вестник»!

«Есть еще много на свете господ, и степных и столичных, которые не только не знают, что можно и должно *идти вперед*, но и вообще не знают, что всякий из них как-нибудь да идет вперед или назад».

Точно горячая, живая кровь сосуды, наполнило строки «Вестника» пироговское горячее, живое слово. Он звал читателей отказаться от частных интересов, смотреть шире, дальше, оторвать взгляд от убогого клочка земли под ногами, будь это даже просторные степи, и посмотреть на звезды, он звал их идти непременно вперед.

Пироговская газета заговорила о свободе личности, о том, что обществу, отечеству нужны не мундиры с начищенными пуговицами, латунными, серебряными или даже золотыми, а люди, что во всяком деле важна не принятая «форма», а суть, газета заговорила о преимуществах свободного труда и «некоторых выгодах улучшения крепостного быта» — так называли ожидаемое освобождение крестьян.

Генерал-губернатор почувствовал, что дело непредвиденно далеко заходит, что призывы Пирогова не гложут без отрыва в необозримых просторах, что громадный край прислушивается все пристальней к скрипу колес нелепого попечителя тарантаса, к порывистому пироговскому шагу, к решительному и точному звуку его речи. Граф перестал усмехаться.

Он доносил в Петербург о вредном направлении и вольнодумстве, распространяемом в крае попечителем Пироговым, о склонности попечителя к усвоению революционного духа, о развращающем влиянии, оказываемом попечителем на вверенную ему молодежь. «От публичного обнародования подобных статей до воззвания к топорам во имя свободы весьма недалеко», — говорилось в доносе про пироговскую газету.

Пирогов от души смеялся, когда доброжелатели шептали ему, что в доносах его сравнивают с Маратом: он смеялся, потому что, по обыкновению своему, всегда думал о сути дела. Но генерал-губернатору не до смеха больше, и в Петербурге не смеялись: чиновник, которому поручен был надзор за Пироговым, обнаружил в речах и статьях его «республиканские возгласы», докладывал, что

попечитель якшается с теми, с кем ему по чину и мундиру якшаться не положено, придает «публике», то бишь обществу, не светскому обществу, но деятельным работникам, гражданам, «значение, какое не принадлежит ей по нашему государственному устройству». В Петербурге не смеялись; царь сердито твердил: «Уволить, уволить!» — ему почтительно подсказывали: невыгодно, неудобно увольнять Пирогова, когда общество жаждет и ждет свобод. Уговорили: перевести Пирогова попечителем из Одессы в Киев. Граф Строганов снова посмеивался: «Язык до Киева доведет...»

А в Киеве тамошний генерал-губернатор князь Васильчиков в недоумении разводит руками: никак не может вытребовать нового попечителя учебного округа к себе на вечер. Все за честь почитают, а Пирогову, видишь ли, недосуг. Пирогов и в Киеве опять за свое: заляпанный чернилами, изрезанный перочинными ножами стол в сельской школе ему больше по душе, чем сияющий хрусталем, накрытый к ужину стол в губернаторском доме, чем зеленый ломберный стол, за которым его сиятельство готов перекинуться с ним в картишки. Наконец его пригласили как бы по делу: «Княгиня желает просить совета у профессора Пирогова». Явился не в мундире, не во фраке, в возмутительном своем балахоне, порыжевшем от времени и непогод, присел, ни на кого не глядя, сунул зябкие руки в широкие рукава, помолчал, не вслушиваясь в разговоры, и без церемоний перебил прелестно катившуюся беседу:

— Что, княгиня, хотели вы от меня?

— Совета, Николай Иванович: как воспитать мне своего сына, чтобы с честью носил имя князей Васильчиковых?

— В деле воспитания, княгиня, нет князей Васильчиковых. Все дети равны.

Встал, поклонился и тотчас ушел, не отужинав.

Его с трудом вытолкали — ну никак нельзя, невоз-

можно иначе! — сделать визит митрополиту. Его преосвященство заулыбался при виде его превосходительства: очень рад да и кстати — у митрополита есть достойнейший кандидат на вакантную должность цензора. Пирогов молча обвел взглядом потемневшие портреты архиереев на стенах, повернулся и вышел, не поклонившись.

А что будешь делать — заискивать, притираться, прилепляться, угождать, чтобы вымолить копеечные уступки? Выклянчивать как подачку то, что не ему, Пирогову, отечеству необходимо?..

Пирогов в Киеве начал еще решительнее, чем в Одессе. Он понимал, что Киев — последняя (и отчаянная!) попытка в стране «формы» добиться сути. Терять было нечего.

Война началась сразу, без разведки. В Одессу прибыл попечителем Пирогов — великий ученый, герой Севастополя, пожелавший служить родине на ниве просвещения; а в Киев прибыл Пирогов — неугодный государю попечитель Одесского округа, из милости не уволенный и сосланный как бы на исправление в другое место. Киевский генерал-губернатор тотчас раздраженно донес в Петербург: «Пирогов, вступив в управление округом, сразу развернул работу в учебных заведениях в прогрессивном духе...» И князев приспешник, гимназический педель, приставленный следить за Пироговым, злобно царापал: «Сразу он все поднял на ноги...»

Но в доносах читается не только ненависть врагов Пирогова — также его сила, стремительность, убежденность. Пирогов упрямо пытался разваливать установленную свыше и, считалось, на веки вечные «форму». По «форме» он должен был понимать субординацию — блюсти свое место и учить подчиненных знать свое. А он запросто, товарищески обходился с сельским учителем, мальчишка из местечковой школы имел к нему доступ в любое время; попечитель учебного округа, его превосходительство, штатский генерал, он открыто писал, что сословные предубеж-

дения ему всего противнее. По «форме» попечитель в разнаязыкой губернии должен был вкупе с другими власть предержащими непременно разделять, дабы вполне властвовать. А Пирогов опять же открыто писал, что не намерен делать различий в духе национальной исключительности, как и в духе исключительности сословной: «В деле воспитания национальностей нет». По «форме» попечителю надлежало надзирать за делами и мыслями гимназистов, студентов, педагогов и профессоров (как генерал-губернатору надлежало «иметь наблюдение за действиями попечителя»). Но он вслух объявил, что роль соглядастая несвойственна его призванию.

Ему подкидывают донос о распространении среди молодежи герценовского журнала «Колокол»; ему надо «караул» кричать, кликать полицию, а он дает знать неосторожным читателям «Колокола» о возможных обысках. Потому что не мундир подсказывал ему решения, а его разум и сердце, разум и сердце не попечителя учебного округа, не превосходительства, но равного с другими человека и гражданина; ему подсказывала решение страстная охота видеть вокруг себя не мундиры, а людей и граждан.

Ему докладывают, что один из полтавских педагогов ратует за просвещение народа, за публичные лекции, что, того более, подозревается в преступной связи с герценовскими вольными изданиями и, еще более, что обо всем этом известно самому государю, приказавшему прибрать учителишку к рукам. Пирогов в скрипучем своем тарантасе катит в Полтаву, на месте разбирается в обстоятельствах, сообщает в Петербург, что означенный учитель — «одна из лучших голов между педагогами округа», и — словно гусей дразнит! — представляет полтавского «крамольника» к ордену.

Пирогов не был революционером. Но он был благороден, искренен, независим. Этих качеств мало, чтобы стать революционером. Но без этих качеств нет революционера. И не случайно, конечно, люди, разжигавшие огонь рево-

люционной борьбы, видели в Пирогове своего настоящего друга. Один из таких людей, находясь в Киеве, писал: «У нас все мерзость, кроме Пирогова. Это человек в полном смысле слова».

Про чистую воду

Вскоре после отъезда Пирогова в Киев, на новое место службы, Одессу, им оставленную, посетил царь. Он благодарил графа Строганова за решительные меры по управлению краем и не считал нужным скрывать, что все, сделанное Пироговым, ему не по душе. Он сильно разгневался, заметив неоднобразность воротников на студенческих мундирах; на улице обнаружил двух офицеров, не по форме одетых, и приказал тотчас арестовать их — у офицеров тоже было что-то с воротниками. Мундирные воротники призваны поддерживать голову в положении, одновременно означающем готовность, почтение и преданность. Неуважение к воротникам и пуговицам шло, конечно, от Пирогова. Государь желал возможно скорей искоренить остатки «пироговской вольницы». Пирогов действовал в Киеве, а за его спиной на Одессу, им оставленную, снова натягивали мундир.

Невозможно вылечить больное общество, не ломая, по слову Добролюбова, «неразумных начал», на которых оно стоит. Невозможно побороть «неразумные начала», воюя с ними в границах одного учебного округа.

Пирогов, наверно, понимал, что войну не выиграет, но не сдавался, спешил добиться хоть немногих побед. Он предлагал изменить весь порядок университетского образования: уничтожить мундиры, устранить полицейский надзор за студентами, главное — открыть вход в университет для людей всех сословий и национальностей. Крестьян он считал нужным принимать в университеты вообще без экзаменов. Царю доложили о пироговском проекте, он сильно рассердился и долго не мог успокоиться,

За обедом изволил молчать, не поднимая глаз от тарелки; августейшее семейство притихло, не ведая причин высочайшего неудовольствия. Покончив с супом, государь скомкал салфетку, швырнул ее на стол: «Тогда будет столько же университетов, сколько кабаков!» Даже высоким покровителям Пирогова стало ясно, что дни его сочтены.

Приказ еще не отдан, но в «сферах» уже шепчутся, прикидывают, торгуются, кого определить в Киев, на пироговское место. А Пирогов осенью 1859 года открывает на Подоле в Киеве первую воскресную школу. Он докладывает министру просвещения: студенты «в видах человеколюбия» пожелали в свободные дни бесплатно обучать «рабочего класса людей». Вроде бы спрашивал разрешения, но докладывал, когда школа уже открылась.

С первого же дня классы школы битком набиты: учатся шли взрослые и дети. Преподавали не только студенты — педагоги, университетские профессора, литераторы, офицеры. Пирогов радостно писал: «Учителя одушевлены рвением учить, ученики — охотою учиться».

Идея Пирогова стремительно рванулась вширь. Воскресные школы росли по России, как грибы. В Петербурге и Москве, в Саратове и Пскове, даже в далеком Троицкосавске Кяхтинского градоначальства — на самой китайской границе. За год в тридцати городах открылось шестьдесят восемь воскресных школ. За три года — триста.

Киевский генерал-губернатор требовал «установить строгий надзор за воскресными школами, чтобы обучение в них соответствовало желаниям и видам правительства». Жандармы доносили, что ~~иные~~ из учителей используют уроки для политической агитации, что пироговская затея способствует революционному делу. Князь Васильчиков, киевский генерал-губернатор, в докладах на высочайшее имя срывался в крик: «Либо я, либо Пирогов».

Пирогов в своем порыжевшем балахоне ездит по округу, неказистый экипаж его хоть и прочен, но вроде бы не скор, а он неведомо как появляется то в одном городе, то почти тут же в другом, в местечках и селах, отделенных одно от другого десятками верст, всякий день Пирогов успевает наработать на год — в Петербурге на его докладах пишут: «Отложить до назначения нового попечителя».

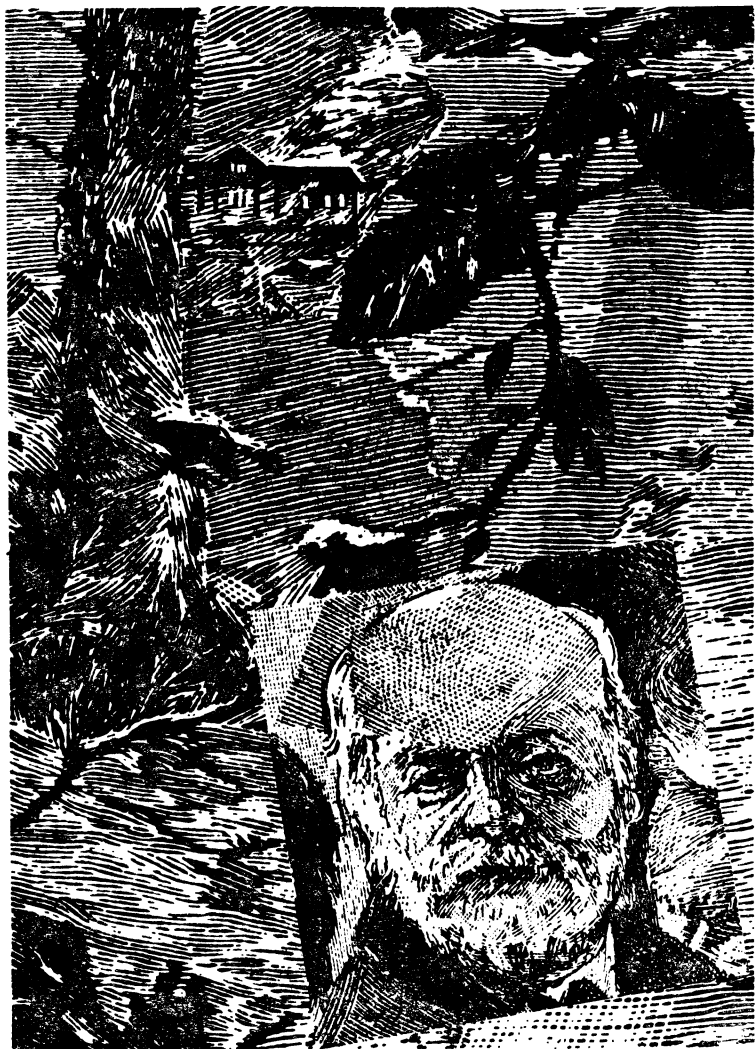
Петербургские покровители («Невыгодно, ваше величество, неудобно *Пирогова* увольнять!») пытаются помирить его с царем. Повод для свидания оказался не лучший — но что поделаешь, другого не нашлось! — совещание попечителей учебных округов, созванное в целях предотвращения студенческих волнений. Как они могли помириться, когда Пирогов добивался свобод для молодежи, а царь рассчитывал на полицию! Покровители просили Пирогова во время аудиенции если и не соглашаться, то хотя бы не спорить, всего лучше молчать, главное же — благодарить. Царь принимал его вместе с попечителем Харьковского учебного округа Зиновьевым.

Из письма Пирогова: «Представлялся государю и великому князю. Государь позвал еще и Зиновьева и толковал с нами целых $\frac{3}{4}$ часа; я ему лил чистую воду. Зиновьев начал благодарением за сделанный им выговор студентам во время его проезда через Харьков, — не стыдясь при мне сказать, что это подействовало благотворно. Жаль, что аудиенция не длилась еще $\frac{1}{4}$ часа; я бы тогда успел высказать все, — помогло ли бы, нет ли, — по крайней мере с плеч долой».

Но он и так успел высказать довольно.

18 марта 1861 года Пирогов был высочайше уволен с поста попечителя «по расстроенному здоровью».

Герцен писал в «Колоколе»: «Отставка Н. И. Пирогова — одно из мерзейших дел России дураков против Руси развивающейся».



Человек и место

Пирогова провожали в отставку торжественными обедами, звучными речами, сочувственными телеграммами. Герцен писал: «Это было свершение великого долга, долга опасного, и потому хвала тому доблестному мужу, который вызвал такие чувства, и хвала тем благородным товарищам его, которые их не утаили».

Было у Пирогова на случай отступления приобретено стараниями практичной Александры Антоновны небольшое имение под Винницей с прелестным названием — Вишня.

Господский дом поставлен на холме. С холма видны убегающие вдаль поля, прорезанные узкой речкой с тем же именем — Вишня, неширокий длинный пруд у подножия. В пруду покачиваются перевернутые сады и хаты деревни Людвиговки, стоящей на противоположном берегу. Предчувствуя скорую отставку, Александра Антоновна загодя обживала понемногу новый дом; сам Николай Иванович тоже туда наведывался — первым делом устроил маленькую домашнюю лабораторию для исследования химического состава почвы — глядишь, выгонят, придется заделаться помещиком, растить хлеб.

Отслушав тосты и речи, Пирогов, привыкший думать и действовать на благо всей России, двинулся из Киева в село Вишню. Тарантас с трудом пробивался в людском море. Следом тянулся длинный кортеж экипажей. На седьмой версте от Киева пироговский тарантас снова уперся в толпу. Снова речи, приветственные выкрики, слова прощания и надежды на скорое возвращение Николая Ивановича к великим делам, которых ждет от него Россия. Потом толпа стала редеть, сопровождающие экипажи понемногу отставать. Еще три-четыре версты, и он уже ехал один среди черных полей, с которых кое-где, белея в низинках, еще не сошел снег; в эти часы жизни у него не

оставалось ничего, кроме самой жизни, которую он не умел не заполнять делом...

Известный педагог Ушинский писал, что каждый день такого человека, как Пирогов, потерянный для отечества, — величайшая, ничем не вознаградимая потеря. Так думал не один Ушинский. Пирогов, даже забившийся в свое имение, не был забыт, привлекал внимание и надежды Руси развивающейся. Эта Россия не желала обходиться без Пирогова.

Царю объясняли, что надо как-то почетно убрать великого профессора, на которого постоянно натыкаешься, как на табурет, стоящий посреди темной комнаты, что надо успокоить общество; наконец министр просвещения нашел Пирогову место — почетное, далекое и пустое. В ту пору возродился профессорский институт: тридцать молодых ученых послали совершенствоваться за границу; Пирогову предложили руководить их занятиями — собирать отчеты и докладывать по начальству. Не учли только, что для Пирогова пустого места не было: дело, которым он занимался, тотчас становилось необыкновенно важным и общественно значимым.

Ему в последний раз давали возможность *казаться*, но он опять сумел *быть*.

Пирогов поселился в университетском городе Гейдельберге. Квартиру для него сняли большую и удобную. С ним была жена; сыновья слушали курс в университете; старший избрал физику, младший пошел по гуманитарной части — сделался историком. Можно было жить безмятежно и наслаждаться жизнью. Развалиться на какой-нибудь удобной скамеечке в парке и дымить сигаркой в глубокое небо, опрокинутое над зелеными шелками рейнской долины. Или, постукивая тростью по седому камню мостовой, осматривать старинные замки. Или вести долгие беседы с мудрыми профессорами прославленного Гейдельбергского университета. Можно было жить безмятежно, ждать отчетов от молодых российских ученых, разбросан-

ных чуть не по всей Европе, с тем чтобы, слегка просмотрев эти отчеты, запечатать их в конверт и отправить дальше, в Петербург, где их и слегка никто просматривать не станет. Но Пирогов терпеть не мог ждать. Он всегда успевал так много, потому что спешил делать.

Едва обосновавшись в Гейдельберге, он тотчас покинул тихий городок, сам помчался к завтрашним российским профессорам — в Италию, в Швейцарию, во Францию. За несколько месяцев он успел осмотреть двадцать пять зарубежных университетов, составить подробный доклад о занятиях каждого из профессорских кандидатов, приложив точные характеристики профессоров, у которых кандидаты работали. Одновременно он поставил целью изучить состояние высшего образования в разных странах, сопоставлял все, что там делается, с тем, что делается по этой же части в России, излагал свои наблюдения и выводы в обширных статьях, названных им «Письма из Гейдельберга». Пирогов даже тихий Гейдельберг превратил в трибуну, из своего далека, куда его упрятали подальше от глаз и ушей соотечественников, он ворвался в самую гущу обсуждения острейшего для отечества университетского вопроса.

Пирогова отдирали, отрывали от молодой, развивающейся России, ссылали прочь от нее, но он нашел ее в тихом Гейдельберге, которым власти пытались заменить ему сельцо Вишню. Он нашел ее, разъезжая по европейским городам, от одного воспитанника вверенного ему профессорского института к другому. «Юношеской горячностью к приобретению знаний он просто заражал нас», — скажет про Пирогова один из профессорских кандидатов. И товарищ его подтвердит: «Я еще не видывал человека столь человеческого: так он прост и вместе глубок. Удивительнее всего, как человек таких лет и чинов мог сохраниться во всей чистоте...»

Власти, отставляя Пирогова, хотели оставить его во

вчерашнем дне, сделать его вчерашним, но Пирогов всем существом своим принадлежал будущему и не умел жить, не отдавая себя ему.

От имени Руси развивающейся

Герой итальянского народа Джузеппе Гарибальди был ранен 29 августа 1862 года в бою на плато Аспромонте.

Отряд Гарибальди был невелик и утомлен долгими переходами. Утром 29-го гарибальдийцы набрали на картофельное поле и, прежде чем испечь в костре выкопанные клубни, поели немного сырых — так они были голодны. Около трех часов пополудни у подножия плато показался авангард королевских войск. Гарибальди велел своим отойти к вершине и занять позицию спиной к основному лесу, венчающему Аспромонте. Имея приказ полностью уничтожить отряд, королевские войска обрушились на него с необыкновенной яростью. Гарибальдийцы не хотели сдаваться, но поначалу не отвечали на выстрелы противника. «Я видел мой отчий дом, наполненный разбойниками, и схватился за оружие, чтобы их выгнать», — говорил Гарибальди про чужеземных захватчиков, но вместе он призывал своих воинов не обогреть себя братской кровью. Королевская пехота не страшилась испачкать руки в братской крови и наступала все ожесточеннее. Бойцы гарибальдийского правого фланга не выдержали, начали отвечать на выстрелы, а там перешли в атаку и отбросили противника. Гарибальди поспешил в гущу боя и, находясь между цепями сражавшихся, пытался остановить кровопролитие, за что, горько шутил он потом, был «вознагражден» двумя пулями — одной в левое бедро, другой в лодыжку правой ноги.

Раненый вождь был арестован, но буря протестов во всем мире заставила королевское правительство освободить его: он был отправлен полупленником в город Специю — здесь итальянские врачи, а затем приглашенные

ими французские и английские хирурги взялись за его лечение.

Рана в лодыжке оказалась тяжелой и непонятной. В иные дни полтора-два десятка медиков собирались у постели Гарибальди, принуждали его корчиться от боли, скрипеть зубами, чтобы не застонать, не закричать, лезли в рану пальцами, вводили в нее зонд, но не могли определить даже то, что, казалось бы, всего проще — осталась ли пуля в ране. Самое легкое было отнять ногу, и, когда месяц и другой врачи без результата искали проклятую пулю, с ужасом ожидая заражения, нагноения, гангрены, разговоры об ампутации раздавались все громче. Но Гарибальди и слышать об этом не желал.

В последних числах октября в Специю приехал Пирогов. Он отправился туда не по приглашению итальянских врачей — его послали к Гарибальди русские студенты, жившие за границей: молодая Россия хотела участвовать в борьбе за жизнь героя и избрала Пирогова своим представителем в этой борьбе. Решение направить Пирогова к Гарибальди было принято на чрезвычайной студенческой сходке; деньги на поездку, тысяча франков, также были собраны студентами по подписке.

Но каков знаменитый профессор, его превосходительство! Какая смелость, какое благородство нужны были, чтобы принять на себя исполнение этого долга, махнуть рукой на благополучное местечко, ему уготованное, на репутацию у властей, и без того совсем ненадежную, пересечь Европу, чтобы появиться у постели человека, одно имя которого вызывало страх и ненависть монархов!

Наверно, Гарибальди встретил Пирогова так, как встречают люди, уставшие от долгой болезни, очередного врача — с надеждой и недоверием; он имел все основания разувериться в медицине.

Пирогов знал внешность Гарибальди по фотографическим портретам, но, увидев его, не мог не удивиться слишком не итальянскому, скорей славянскому типу его

широкого лица. Его изумил взгляд Гарибальди — прямой и ясный, глаза в глаза, такой редко встречаешь, всякое движение его души выказывалось в его взгляде открыто и просто, любимое пироговское «быть, а не казаться» без остатка обнаруживало себя в этом взгляде.

Гарибальди лежал на постели в ночной сорочке, укрытый черным шерстяным плащом, его знаменитая красная рубаша была брошена рядом на стуле, он устал одеваться, он вообще устал, — в тот день, когда Пирогов, едва прибыв в город, поспешил к нему, его успели осмотреть семнадцать врачей, и каждый счел необходимой обязанностью сунуть в рану палец или металлический зонд. Как ни желал больной скорейшего исцеления, всякий новый врач был для него и новым мучителем.

Гарибальди пришел в восторг, когда выяснилось, что русский профессор вполне удовольствуется одним наружным осмотром. Полчаса спустя Гарибальди, посмуглевший от волнения, натянул свою красную шерстяную рубашу, повязал на шею пестрый платок, как это делают матросы, и присел на кровати, опираясь на подушки. Он просил налить ему рюмку портвейна, чтобы выпить за искусство врача-чудодея, чудодей между тем, проголодавшись после долгой дороги, ужинал сушеными плодами за маленьким столиком, придвинутым к кровати больного, и пересказывал лечащим врачам свои выводы.

Пуля в кости, говорил Пирогов, но спешить с ее извлечением не следует: через несколько недель состояние раны переменится, и то, что невозможно ныне, станет доступно и просто; пока же ни жизнь, ни нога Гарибальди не находятся в опасности.

И снова — какая смелость! — Пирогов не побоялся пророчить на глазах всего мира: тысячи людей в разных странах напряженно следили за болезнью Гарибальди. И как всегда — какая откровенность! — Пирогов не испытывал нужды в таинственной маске пророка. Для не-

го по-прежнему всего главное открыть другим, что думает и делает: вслух, на бумаге, он воссоздает, разглашает ход своих рассуждений, выявляет связь того, что видел, и того, что вывел.

Из заметки Пирогова о ране Гарибальди:

«Разве недостаточно здравого смысла, чтобы сказать с положительной точностью, что пуля — в ране, что кость повреждена, когда я вижу одно только пулевое отверстие, проникающее в кость; когда узнаю, что пуля была коническая и выстреленная из нарезного ружья; когда мне показывают куски обуви и частички кости, извлеченные уже из раны; когда я нахожу кость припухшею, растянутою, сустав увеличенным в объеме? Неужели можно, в самом деле, предполагать, что такая пуля и при таком выстреле могла отскочить назад, пробив кость и вбив в рану обувь и платье?..

Но если, с одной стороны, присутствие пули в ране Гарибальди и без зонда несомненно, то, с другой стороны, зонд, не открыв ее в ране, несколько бы не изменил моего убеждения. И действительно, больного уже не раз зондировали, а пули не отыскивали...

Наконец, не в одном материальном отношении считаю я зондирование Гарибальди покуда бесполезным и даже вредным; оно может сделаться вредным и в нравственном отношении, если поколеблет доверие больного...

Все искусство врача состоит в том, чтобы уметь выждать до известной степени. Кто не дождавшись и слишком рано начнет делать попытки к извлечению, тот может легко повредить всему делу; он может натолкнуться на неподвижную пулю и попытки извлечения будут соединены с большим насилием... Кто будет ждать слишком долго, тот, напротив, без нужды дождется до полного образования нарыва, рожи и лихорадки...

Мой совет, данный Гарибальди, был: спокойно выждать, не раздражать много раны введением посторонних тел, как бы их механизм ни был искусно придуман, а

главное — зорко наблюдать за свойством раны и окружающих ее частей. Нечего много копать в ране зондом и пальцем...

В заключение скажу, что я считаю рану Гарибальди не опасной для жизни, но весьма значительною, продолжительною...»

Как все просто, когда ход рассуждений выстроен, когда одна мысль легко подталкивает к другой, как паразитально, что прежде-то никому такое в голову не пришло, ведь вокруг Гарибальди толпились лучшие европейские хирурги!

Через двадцать шесть дней после приезда Пирогова к Гарибальди рана обрела именно те свойства, какие предсказал Пирогов, и пуля была легко извлечена.

Из письма Гарибальди: «Мой дорогой доктор Пирогов, моя рана почти залечена. Я чувствую потребность поблагодарить Вас за сердечную заботу, которую Вы проявили ко мне, и умелое лечение. Считайте меня, мой дорогой доктор, Вашим преданным Дж. Гарибальди».

В предисловии к своим воспоминаниям Гарибальди писал, что бескорыстное внимание профессоров разных стран — и в их числе Пирогова — доказало, что «для добрых дел, для подлинной науки нет границ в семье человечества».

Счастливая медицина

4 апреля 1866 года, когда император Александр Второй гулял по Летнему саду, в него выстрелил из револьвера прижавшийся к садовой решетке бледный молодой человек с болезненным лицом и припухшими глазами, оказавшийся, как вскоре выяснилось, студентом Дмитрием Каракозовым; пуля прошла мимо...

Выстрел у Летнего сада оборвал заграничную командировку Пирогова: после покушения на государя с общественным мнением считаться перестали. Новый министр

народного просвещения без церемоний сообщил Пирогову, что «освобождает его, Пирогова, от возложенных на него поручений как по исполнению разных трудов по учебной и педагогической части, так и по руководству лиц, отправленных за границу». От всего освобождает.

Ни почетных назначений, ни пустых, ни отдаленных для Пирогова больше не придумывали. Теперь до конца дней осталось у него село Вишня — шестнадцать десятин, до конца дней определялась ему необязательная жизнь отставной знаменитости и помещика средней руки.

Он поседел быстро и как-то сразу. Седина, словно нежданный первый снег, когда утром выглянул в окошко — все бело: белые виски, еще объемнее обозначившие лепку могучего лба, который хочется назвать челом, белая борода (он бороду отпустил), но не умиротворенная борода патриарха, а вечно всклокоченная, сердитая.

Он не умел жить отведенной ему жизнью старика, сельского хозяина, коротающего остаток дней в разговорах с соседями о видах на урожай и ярмарочных ценах на бычков и поросей. Жизнь без обязанностей, без ежедневного исполнения долга перед человечеством была непироговская жизнь и для него, Пирогова, вообще не жизнь: жить, быть человеком, значило для него работать, созидать, творить; одно потребление созданного другими отнимает у человека его духовную и душевную сущность, необходимость напряженно мыслить, чувствовать, действовать в людском сообществе, отдавать себя другим и жертвовать собой, оно превращает человека в биологический механизм, а жизнь его в случайное и бесцельное существование.

Он пристрастился сажать деревья, и суть здесь, наверно, не в узкой мысли — вот он-де умрет, а дерево останется: долгая жизнь дерева как бы продолжает жизнь человека, душа человека, посадившего дерево, и впрямь в нем, в дереве, остается, как говорят иные поверья, — посаженным деревом, ни с чем на земле не сравнимой

красотой его ствола и листвы, живительной тенью его кроны, шумом природы в его ветвях, кислородом, которым оно вечно обновляет, омолаживает воздух мира, человек ушедший продолжает служить новым людям, будущему. Но в Вишне он не только деревья сажал.

В 1856 году Пирогов уходил из медицины. Ему, по крайней мере, казалось тогда, что уходит. Но медицина ни на день не ушла из жизни Пирогова. Он продолжал врачевать даже в самую жаркую пору педагогической деятельности.

В Одессе он принимал больных на дому два раза в неделю. Земля могла завертеться в другую сторону, но Пирогов точно в назначенный день и час появлялся в приемной. Случалось, этот назначенный день настигал его в поездке, вдали от города — под палящим солнцем он спешил домой, без конца поглядывал на часы, волновался и, окончив прием, тотчас возвращался в какое-нибудь местечко в сорока или ста сорока верстах от города, где тоже в назначенный день и час непременно должен был присутствовать на выпускном экзамене или вступительных испытаниях.

Он лечил бесплатно, иной раз даже приплачивал больным. Выписать бедняку рецепт и не дать денег на лекарство было нелепо, а Пирогов ненавидел нелепости. Бедняки шли к Пирогову толпами — они больше всего выиграли от его медицинской практики: прежде и не мечтавшие о враче, они теперь бесплатно лечились у самого Пирогова. Один из имущих пациентов с неудовольствием вспоминает, что квартира профессора «битком набита была народом, в среде которого хорошо одетые составляли весьма слабый элемент». Автора воспоминаний ужасала духота в приемной, чесночный запах, обилие «грязных, больных тел» и общая очередь. Он жалеет Пирогова за его «любовь к ближнему», пироговский «демократизм» именует «самоистязанием». Видимо, не всегда справедливо ставить себя на место другого.

Такие же приемные дни Пирогов установил и во времена киевского попечительства. У писателя Куприна есть рассказ «Чудесный доктор»: речь в нем о том, как Пирогов спас семью бедняка-чиновника от болезней, голода и нищеты, помог ей «выбиться». Рассказ не из лучших купринских: мы как-то не очень верим в счастливые концы, которые становятся счастливыми оттого, что, подобно «богу из машины» в древних трагедиях, вдруг появляется великий человек — он все может и все устраивает по добру и справедливости. Но Куприн, проникательный репортер, автор «Киевских типов», предпослал рассказу подзаголовок «Истинное происшествие»: в купринские времена люди, спасенные Пироговым, еще ходили по улицам Одессы и Киева.

Итак: Дерпт, Берлин, Париж, Петербург, Севастополь, Одесса, Киев — и прилепившееся почти на окраине Винницы малороссийское сельцо Вишня, шестнадцать десятин. В Вишне Пирогов продолжал свои врачебные труды. И не просто продолжал: здесь, на шестнадцати десятинах, человек, открывший для мировой хирургии новые пути, подводил итоги.

Итоги подводят по-разному: вспоминают прошлое, предсказывают будущее, укладывают свой опыт в советы и афоризмы, нумеруют и подшивают листы, составляют описи, подсчитывают приход-расход. Пирогов подводил итоги у операционного стола.

Из разных городов России спешат люди в не помещенное на географических картах сельцо, чтобы лечь под нож Пирогова. Захоти Пирогов и впрямь совсем уйти из медицины, его бы не выпустили: нельзя жить в одно время с Пироговым и позволить ему не быть хирургом. Да и Пирогов может ли хоть на день забыть, утратить, заглушить в себе тот — давний и на всю жизнь — внутренний голос, который некогда ему, мальчику, в чуткие его уши, постоянно заполненные гулом вселенной, говорил: «Хирургия!»

Из заметок Пирогова: «Самые счастливые результаты я получил из практики моей в деревне».

Только за первые полтора года двести серьезных операций — и ни одного случая рожи или гнойного заражения.

Больные лежат после операции в углах и сенцах крестьянских хат, на жестких лавках; Пирогов учит их самостоятельно ухаживать за своими ранами. И что же: раны, которые при самом тщательном уходе неизбежно завершались осложнениями, здесь, в Вишне, заживают сами собой.

Счастливая Вишня!

Пирогов объяснял хорошие результаты тем, что «оперированные в деревне не лежали в одном и том же пространстве, а каждый отдельно»: у крестьян Пирогов расселял больных порознь.

Пирогов не произносит еще слова «микроб», но говорит о «множестве органических зародышей, которые содержатся в окружающем нас воздухе». Пироговская хирургия еще в петербургские времена познала на горьких уроках необходимость чистоты при операциях, важность обособления больных с грязными ранами; в Вишне она обогатилась представлениями о целительности здорового, незараженного воздуха.

Итоги хирургической работы в деревне настолько поразительны, настолько необычны для того времени, что Пирогов и сам удивленно разводит руками: «Результаты практики двух различных хирургов — искусного и плохого — не могут быть различнее тех, которые я получил в моей военно-госпитальной практике и в деревне».

Пирогов все свое творчество, все труды свои словно на два этапа разделяет: в одном — и Дерпт, и Петербург, и Севастополь, в другом — только Вишня.

Вишня — это и Дерпт, и Петербург, и Севастополь, но без гангрены, без гнойного заражения, без гнилокро-

вия. Вишня — это великое искусство хирурга, не омрачаемое и не убиваемое «хирургическими казнями».

Известный хирург, профессор Оппель высказал мысль, вроде бы парадоксальную, но он тоже, как и Пирогов, остро чувствовал разницу формы и сути: уход Пирогова из профессуры, писал Оппель, оказался выгодным для хирургии, потому что закончился деревенской практикой.

У науки своя география. В истории хирургии Вишня поставлена трудами Пирогова в один ряд с Дерптом, Петербургом, Севастополем.

Утверждение бытия

Борода белая, знакомые давно числят его стариком, деревенские детишки, встречаясь, приветствуют: «Здравствуй, дедушка!», а он не желает верить зеркалу, этой всклоченной седой бороде, седым вискам, будто потревоженным ветром, он верит стремительным порывам души, гулкому биению сердца, будоражащему его шуму в ушах, внимающих, как порой казалось ему, движение звезд.

Пирогову шестьдесят — он отправляется на войну.

Из неведомого прежде сельца Вишня, прославленного теперь его трудами, ставшего *пироговской* Вишней, от белых мазанок, где размещает он больных, от набитой страждущими аптеки, стоящей налево у въезда в усадьбу, от своего сада, где что ни год заметно раздаются стволы лип, тяжелеют ветки посаженных им елей, он спешит бог весть куда, на театр франко-прусской войны: в сентябре 1870 года Российское общество попечения о больных и раненых воинах, позже переименованное в Общество Красного Креста, просит его осмотреть в целях изучения опыта военно-санитарные учреждения противоборствующих стран.

Он срывается с места, точно только и ждал сигнала звалить на себя обязанность потяжелее, чиновники из

финансового ведомства мудрят над костяшками счетов, вычисляя ему командировочные, суточные, прогонные, — денег у них, конечно, не хватает; он сердито машет на них рукой — некогда! — и едет за свой счет. Он объясняет: рад служить обществу безвозмездно, своей же поездкой он надеется «принести пользу и нашей военной медицине, и делу высокого человеколюбия».

За пять недель он успевает посетить семьдесят военных лазаретов.

Пироговские скорости! Он не дожидается в каком-нибудь удобном пансионе, попивая кофеек, пока почтительные коллеги на тарелочке поднесут ему, всемирно известному профессору, старику, патриарху эдакому, все необходимые сведения. Ему вообще некогда снимать комнаты в пансионах, разводить с коллегами тары-бары за кофейком. Он все должен видеть сам, а увидеть он хочет самое главное: как организована помощь раненым на поле боя, как применяется сберегательное лечение, как действует военно-медицинская администрация.

Он начинает с Саарбрюккена, оттуда спешит в Ремилы, потом в Понт-а-Муссон, Корни, Горзе, Нанси, Страсбург, Карлсруэ, Швецинген, Мангейм, Гейдельберг, Штутгарт, Дармштадт, Лейпциг — все за пять недель.

«Патриарх» дремлет, притулившись на краешке жесткой скамьи вагона третьего класса, торопливо карабкается в тесно заполненные солдатами теплушки, не стесняется принять поданный ему ломоть серого пшеничного хлеба, кусок сыра, проталкивается с кружкой к дневальному, принесшему ведро кипятку. Иногда его прогоняют прочь от вагона: ребята едут умирать, что им до старичка, иностранного профессора, инспектирующего лазареты! Он не унывает — атакует следующий поезд или идет пешком; однажды его подобрал на дороге сердобольный крестьянин, и он со всеми удобствами прокатился до нужного города в одноконной деревенской повозке. Спать приходит-

ся большей частью на полу, в разного рода подсобных комнатухах при лазаретах, в кладовках, кастелянских, каптерках, иногда для него — «патриарх» все-таки! — сооружают из бывших в употреблении тюфяков ложе поудобнее. Ест он где придется и что придется, а вокруг свирепствуют дизентерия и брюшной тиф; спутники тревожатся за него (не меньше за себя, он подозревает), он сердится: у него нет времени искать на войне чистенькое кулинарное заведение с диетической кашкой и сверкающим ватерклозетом — и сворачивает в первую же попавшуюся харчевню. Между тем осень явственно вступает в свои права, и на рассвете поредевшая трава под ногами серебрится инеем. Он бодро заявляет спутникам, что путешествует как нельзя лучше, на мелкие неудобства, обычные в таком путешествии, грех жаловаться, на Кавказе и в Севастополе приходилось много труднее.

В Страсбурге Пирогов особенно остро вспоминает Севастополь. Страсбург тоже вынуждали к сдаче бомбардировками: немцы обрушили на город около двухсот тысяч снарядов. Разрушен Страсбург был меньше, чем Севастополь, но он и продержался всего шесть недель против пятидесяти севастопольских. В Страсбурге французский хирург водил Пирогова по госпиталю, показывал пробитый бомбами потолок, жаловался: флаг с красным крестом не мешал немецким наводчикам целить по зданию.

— Французские бомбы в Севастополе, — ответил Пирогов, — тоже не разбирали флагов на перевязочных пунктах.

Француз, рассказывал позже Пирогов, пожал плечами:

— Ну, это другое дело.

Но Пирогов, видевший и госпитали Севастополя, и госпитали Страсбурга, не считал, что «это другое дело». Он был уверен, что и то и другое — одно дело: «Кто видел хоть издали все страдания этих жертв войны, тот, наверно, не назовет с шовинистами миролюбивое настрое-

ние наций «мещанским счастьем»; шовинизм, вызывающий нации на распри и гибель, достоин проклятия народов».

...Если бы те, в чьих руках судьбы мира, думали так же, как он! Но земные просторы, которым надлежит быть вспаханными и рождать миру хлеб, изрезаны окопами, изрыты воронками от падающих снарядов. И люди, которым надлежит жить и радоваться жизни, сеять и убирать хлеб, рожать детей, вытаптывают брошенное в землю семя, тысячами убивают себе подобных, оставляют после себя сирот, обедняют мир, не даруя ему множество прекрасных людей, которым не суждено родиться, становятся увечными, калеками, кричат от боли, захлебываются кровью, страдают и приносят страдания другим, своим братьям по человечеству. И потому Пирогов, который знает, что лучше любого другого способен облегчить страдания ближнего, не имеет права забросить в каморку, где свалены ненужные вещи, набор военно-полевых хирургических инструментов, тщательно размещенных в портертом кожаном футляре.

Пирогову шестьдесят семь — он опять оставляет свою Вишню, опять едет на войну.

Теперь на русско-турецкую: он появляется в Зимнице, Систове, Тырнове, появляется под Плевной — каждое из этих имен шаг в освобождении Болгарии от чужеземного ига. Никто, понятно, не ждет на фронте этого старца, но он вдруг оказывается в каком-то госпитале; военные врачи из прежних его знакомцев примечают, что он стал туговат на ухо, плохо помнит имена, сговариваются потихоньку, как покойнее и удобнее устроить старика; но час проходит, другой, давние товарищи узнают *Пирогова*: борода торчком, врывается в палаты, в операционные, тотчас влез в дела, во всем разобрался, всем надавал указаний, сердито пообещал приехать вскоре и проверить, как выполняют; они ставят для него в отдельной комнате кровать, взбивают подушки, он отказывается от комнаты,

от кровати — некогда! — легко бросает тело в седло и спешит верхом в другой лазарет.

В декабре 1877 года Пирогов пробирается из-под Плевны в Бухарест. Стоят сильные морозы, путь зимний — он выезжает в санях, но дороги изодраны обозами, сани скрежещут, еле тащатся, застревают в колеях, снег в которых перемешан с землею и щебнем, он пересаживается в телегу, трясется в ней до Систова, на понтонной лодке, выискивая путь между льдинами, перебирается на остров, лежащий посредине Дуная; остров пересекает пешком, садится в другую лодку и приплывает в Зимницу. Немедля осматривает несколько госпиталей и «в импровизированных на живую руку санях», как он пишет, тотчас торопится дальше. От Фратешт он едет в поезде — в третьем классе, состав внезапно останавливается — сошедший с рельсов тендер преграждает путь. Пирогов идет пешком до следующей станции. В Бухаресте он обследует три госпиталя, знакомится с санитарными поездами разных типов, составляет план борьбы с сыпным тифом, перестраивает систему транспортировки раненых и через три дня трогается дальше, теперь в Яссы.

Он ехал на фронт для инспекции лазаретов, но это форма: он, хотел того или нет, сделался главным консультантом по всем вопросам медицинского обеспечения армии — вот суть.

Работа по-прежнему покоряется ему, и он по-прежнему радостно покоряется, всего себя отдает требовательному делу. Он не разучился летать. Он не желает думать о своих шестидесяти семи. Что ж, пусть недослышит словцо в разговоре, но он слышит, как неумолчно шумят моря, растут и разрушаются горы, звезды двигаются. Пусть запомнил имя какого-нибудь медицинского капитана или пехотного полковника, но он ни на миг не забывает о страданиях и нуждах отдельного человека и всего человечества.

Осмысляя и связывая в уме все, что понял за долгую

жизнь у постели больного и на полях сражений, он выведет перед смертью в своих записках: и в каждом отдельном живом организме, и во всем живом мире все направлено к тому, чтобы сохранить и утвердить бытие, противодействовать разрушению.

«Начала»

В Гейдельберге Пирогов завершил знаменитый труд «Начала общей военно-полевой хирургии». С фронта франко-прусской войны он привез «Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 году». С фронта русско-турецкой — «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877—1878 годах».

Эти три книги составили своего рода трилогию: в них сосредоточено учение Пирогова о военной медицине.

Отчет о кавказском путешествии 1847 года предвещает пироговскую трилогию, как бы пролог к ней.

Труды прошлого, как правило, много комментируют, со временем люди охотнее изучают комментарии, чем сами труды. Лишь классические творения не боятся времени. Они всегда современны и своевременны, новые поколения читают их по-новому, находят в них свое.

«Начала» — хорошее, емкое слово: это и основные положения, и исток, корень дела, которому расти ввысь и вширь, развиваться, крепнуть. «Начала» — значит, точка не поставлена: годы идут, страницы книги становятся страницами истории, но не остаются в прошлом, живут и еще будут жить впереди. Это — вечная неисчерпаемость классики.

Во время Великой Отечественной войны пироговские «Начала» остались *началами*, а не седым памятником старины. Выдающийся советский хирург Н. Н. Бурденко, много потрудившийся на благо военной медицины, пи-

сал: «Классические труды Пирогова до сих пор привлекают внимание современных военно-полевых хирургов своим богатством идей, светлыми мыслями, точными описаниями болезненных форм и исключительным организационным опытом».

«Начала» — это выводы из того, что делал, что думал, кем был Пирогов на войне — в Кавказских горах и в осажденном Севастополе, на полях Европы и в Болгарии.

Он, как всегда, начинает, казалось бы, с подробностей, с частных. Снова поразительная пироговская всеобъемлемость, поразительно кропотливое проникновение в каждую малость. Сведения об устройстве госпиталей и перевязочных пунктов. О «сортировке» раненых и об их транспортировке. Скрупулезное исследование о «действии огнестрельных снарядов на органические ткани». Описание ранений головы, лица, шеи, грудной, брюшной, тазовой полостей, конечностей — описание такое подробное, что, в какую точку тела ни попади пуля, она непременно «пробьет» какой-нибудь раздел или параграф пироговских «Начал».

Подробность доведена до ювелирного гранения. Разбирая действие огнестрельных снарядов, Пирогов находит различия, «зависящие: 1) от величины снаряда; 2) от измененного направления; 3) от удара при полете и на излете; 4) от угла; 5) от раскола на несколько кусков; 6) от внесения посторонних тел; 7) от свойства снаряда (был ли он массивный или полый); 8) от свойства поврежденной ткани». Этому предшествует изучение разрушительного действия огнестрельных снарядов в зависимости от массы, меткости и скорости, чему, в свою очередь, предшествует изучение вопросов меткости и скорости стрельбы в зависимости от формы снаряда, от устройства дула и зарядной части ружья, от силы давления, производимого вспышкой газов.

Но от дотошности книга не скучнее, наоборот, интереснее. Иногда книги бывают излишне подробными, по-

тому что автор не верит читателю, старается сам все объяснить. Пироговская подробность — это новые и новые точки зрения, точки видения. Будто смотрит с горы: чуть вправо шагнул, чуть влево — и взору открываются новые дали. Пироговская подробность дает простор для додумывания. Но сам он смотрит не только вправо, влево, он поднимается все выше, устремляет взгляд все дальше, подробности по обыкновению обобщаются, и постепенно перед читателем открывается громадная, во всех деталях видная и взаимосвязанная картина. И тогда Пирогов предлагает выводы.

«Основные начала моей полевой хирургии» — так и называется он один из последних разделов последнего своего труда «Военно-врачебное дело». Первое из этих «основных начал» — изумляющее точностью определение войны, определение, найденное не политиком, не историком, не экономистом, а хирургом, — оказывается, хирург может по-своему определить общественное явление: «Война — это травматическая эпидемия». Массовость поражений (травм), нехватка врачей, важность организации лечения одновременно множества больных — эти особенности одинаково отличают работу медиков во время эпидемий и в военное время. Другие «начала» показывают пути борьбы с травматической эпидемией — значение «сортировки», сберегательного лечения, правильно налаженного транспорта раненых. Ход мысли подводит читателя еще к одному положению, всей жизнью выстраданному: «Не медицина, а администрация играет главную роль в деле помощи раненым и больным на театре войны».

Из книги Пирогова «Военно-врачебное дело»: «Прошло с лишком тридцать лет с тех пор, когда я в первый раз познакомился с полевою хирургиею на небольшом театре войны, и почти двадцать пять лет с того времени, когда я действовал на обширном поприще полевой хирургии... Я руководствовался не столько великими трудами светил науки, сколько собственным наблюдением и опытом...

Основы моей полевой хирургической деятельности я сообщил только спустя десять лет после достопамятной Крымской кампании. С тех пор шесть войн нарушали мир различных государств Европы и Америки. Следя за ходом событий, я всякий раз мысленно убеждался в истине тех начал, которые исповедую».

Пироговские «Начала» рождались в его трудах и проверялись его трудами. Недаром этот старик с вечно молодой душой бросался из своей деревеньки в палатки перевязочных пунктов, в бараки прифронтовых госпиталей, навстречу огню, разрушению, смерти. Он жил в заботах о будущем, в стремлении противодействовать разрушению живого и утвердить на земле бытие, и эти его заботы и стремления вместе с молодой его душой, с горячим биением его сердца, с легким и стремительным его шагом зарядили вечностью выношенные им «Начала».

Торжество

К семидесяти зрение начало ему изменять; яркость мира вокруг сделалась для него недоступной — яркий мир мутнел, тускнел, просачиваясь в глаза его, точно завязанный редкой тряпичей. Он щурился, закидывал голову назад, выставляя и без того топорщившуюся бороду, и от этого пронзительного прищура, от упрямо торчавшего подбородка в лице его еще явственнее обнаруживали себя напряженная пытливость, стремительность и воля.

Таким запечатлел Пирогова художник Репин.

Внешность Пирогова, за которой художник остро, всем существом своим почувствовал необыкновенность и значительность его личности, так увлекла Репина, что, начав, он не мог остановиться: казалось, вот оно, главное, схвачено, передано, но вдруг что-то менялось в неотступно и сильно мыслящем лице этого зорко всматривающегося, чутко вслушивающегося в мир, вбирающего мир в

себя старика — и начинай сначала; Репин писал портрет Пирогова маслом, рисовал карандашом, даже лепил.

Репин увидел Пирогова в мае 1881 года в Москве. В те дни здесь праздновали пироговский юбилей — пятьдесят лет его деятельности. Пирогов долго отказывался от юбилейных торжеств — он всю жизнь терпеть не мог славословий, да и попросту нелепо в семьдесят с лишним слушать уверения в бессмертии. Его все же уговорили: Пирогов просил только, чтобы чествование устроили в Москве — он-то знал, что больше, пожалуй, из Вишни не выберется, ему хотелось напоследок подышать тем же воздухом, который он вобрал в себя в миг рождения.

В актовом зале Московского университета выставили для обозрения документы далекой поры: прошение сына комиссионера 9-го класса Николая Пирогова о принятии в университет, расписку о получении шляпы и шпаги перед поездкой в профессорский институт. Низко склонившись над витриной, он перечитывал старые бумажки, свидетельства славного времени, когда юный человек отправлялся в путь, чтобы открывать новые земли. Толпившиеся вокруг люди, новые землепроходцы, смотрели на него с умилением — на их глазах старик встретился с молодостью и прощался с ней. Он чувствовал, как сердце у него замирает, потому что в эти минуты вспоминал такое, о чем стоявшая вокруг толпа и предположить не могла: не дни великих взлетов и славы — вспоминал мать в темно-красном платье, вошедшую утром к нему в спальню, вспоминал беличье свое одеяльце, райских птиц, намалеванных на потолке, сказку няни про Бабу Ягу, белые цветы в саду за окном, серую кошку Машку, медный блеск ножен отцовской сабли, висящей на стене в зальце. И еще он злился, что согласился на это дурацкое празднование, потому что все вокруг каждым словом, каждым жестом показывали ему, что все у него позади, он же при всей проницательности и беспощадности свое-

го ума никак не мог в это поверить и согласиться с этим: он никак не мог отделаться от ощущения и даже от убеждения, что многое у него еще впереди, что его ждет что-то и надо действовать, спешить. И его раздражало, что он должен тратить время на бессмысленное сидение в красивом кресле, помещенном на убранной цветами сцене, на слушание однообразных речей, в которых за красивыми и даже приятными словами невыносимо мало дела, что он обрек себя на мучительное чувство неловкости от этого сидения в центре, от этих речей; он испытывал к тому же стыд от того, что несколько сот добрых людей собрались славить прожитое и сделанное им, а он все еще хотел жить и делать.

Сначала Пирогов слушал речи внимательно, подавшись вперед и приложив ладонь к уху; потом надел темные очки, скрестил на груди руки, сидел тихо и чинно.

Приветствий было много — от российских обществ, ведомств и городов, из Мюнхена, Страсбурга, Падуи, Эдинбурга, Парижа, Праги, Вены, Брюсселя; он устал слушать, ему чудилось, что разные люди разными головами читают один и тот же бесконечный текст.

Когда смолкло жужжание голосов и наступила пронзительная тишина, Пирогов спрятал очки в карман парадного сюртука, за последние пятнадцать лет едва ли не впервые надетого, и, задирая бороду, быстрыми, порывистыми шажками побежал к кафедре. Он шурился — это его выражение прекрасно схватил и запечатлел Репин: подслеповатый Пирогов, щурясь, заглядывает в себя и видит будущее. Голос Пирогова был по-юному одушевлен и резок.

Он знал: от него ждут трогательного слова о прошлом, благодарности за то, что люди, занятые своим настоящим, не забывают его прошлого. Но он не мог кланяться прошлому, он всегда чувствовал и осмыслял жизнь как движение и действовал в настоящем, нацеленный, устремленный в будущее. Он говорил о молодом по-

колении и желал ему правды и нравственной свободы. Он говорил, и перед глазами у него была скромная студенческая столовка, куда он забрел, осматривая университет перед началом торжества, жидковатые щи, которых ему захотелось поест и которые показались ему необыкновенно вкусны, несколько молодых людей, сосредоточенно внимавших ему, пока он беседовал с ними за обедом. Он говорил о будущем и чувствовал, как все его существо тянется к этому будущему, одержимо стремлением работать для будущего...

И это при его беспощадной правдивости было совсем удивительно, потому что он угадывал, что неизлечимо болен, в голове его вертелась сердитая шутка — вот-де торжество, которое прямым ходом перейдет в тризну.

Вскоре он поставил себе ясный и безнадежный диагноз и, по привычке действовать открыто, не таиться ни от других, ни от себя, записал его на четвертушке бумаги; приговор был пироговский — окончательный и обжалованию не подлежал.

Николай Иванович Пирогов умер в селе Вишня 23 ноября 1881 года.

Он оказался прав — торжество обернулось тризной: поток приветствий и поздравлений в газетах на ходу сменялся некрологами и соболезнованиями.

В «Правительственном вестнике» было помещено официальное сообщение: «Исключен из списков умерший: состоявший при Министерстве народного просвещения тайный советник Пирогов». Оказывается, все эти пятнадцать лет он числился на службе! Он сделал за эти годы сотни прекрасных операций, съездил на две войны, изложил на полутора тысячах страниц теорию военной медицины, а в архивах официальной субординации, по «форме», с которой всю жизнь воевал, числился служакой по ведомству народного просвещения, где его отставили от всех дел и лишили жалованья, — числился «состоящим при...»

...Умиравший Пирогов впал в забытие, бредил. Перед самым концом он вдруг встрепенулся, открыл глаза, попросил подать пальто, галоши — ему надо было идти. Еще оставалось несколько часов жизни и пропасть неперделанных дел. Даже в забытии он торопливо заполнял часы делом. Ему было некогда. Он спешил.

И снова про звезду

Последний год жизни Пирогов работал как одержимый. Сестра милосердия подсовывала ему под руку один лист бумаги за другим — он исписывал листы нетерпеливым, размашистым почерком. Зрение ухудшалось, почерк делался крупнее, неразборчивее, в строке едва умещалось два-три слова. Сестра осторожно принимала исписанные листы, нумеровала — ему было некогда этим заниматься: он спешил.

Пирогов торопливо работал над записками, названными, как встарь, «Вопросы жизни». Тут же подзаголовок: «Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтет и кто другой». В подзаголовке все тот же Пирогов: полнейшая откровенность с самим собой и непоборимое желание раскрыть себя людям.

Пушкин написал однажды, что следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. В «Дневнике старого врача» Пирогов развивает основы — начала! — науки, о которой писал Пушкин. «Для мыслящего, любознательного человека нет предмета, более достойного внимания, как знакомство с внутренним бытом каждого мыслящего человека», — начинается повествование.

Очень важно и по-пироговски точно сочетание заголовка и подзаголовка: «Вопросы жизни» и «Дневник». Воспоминания о прошлом, отрывочные сведения о на-

стоящем перемежаются тем, что предназначено для будущего, что прочтет когда-нибудь кто другой, — раздумьями о жизни: не одна «правда внешняя» (дневник), объясняет Пирогов задачу своих записок, но раскрытие «правды внутренней», разбор своих действий для уяснения их мотивов и целей, иногда глубоко скрывааемых в тайнике души, долго непонятных не только для других, но и для самого себя. Искреннейший *дневник* Пирогова — вот что я делал, что думал, кем был! — силой и глубиной его раздумий поворачивается к поискам ответа на главные *вопросы жизни*: что делать, как думать, каким быть...

Он объясняет, что вытаскивает из архива своей памяти документы для истории развития своих убеждений для того прежде всего, чтобы помочь другим, будущим, приобрести убеждения, выработать мировоззрение, потому что завтрашний день человечества зависит от взгляда на мир, жизнь и себя самого тех, кто будет жить и действовать завтра.

Он не поучает новые поколения с высот своих великих трудов и великой славы, он по-прежнему тайным соглядатаем разоблачает всякое свое деяние, всякий помысел, он не в пример себя ставит, он жаждет на своем примере помочь другим, будущим, лучше строить свою жизнь.

Из «Дневника старого врача»: «Надо проследить красную нить через путаницу переплетенных между собою сомнений и противоречий, возникающих всякий раз, как только захочешь сделать для себя руководящую нить более ясною...»

...Он сделался удивительно легким, почти невесомым. Ему иногда казалось — шагни он да оттолкнись посильнее: взлетит. Уже не стало сил ни шагать, ни отталкиваться. Но он не перестает летать. Неукротимый работник, он не в силах перестать делать. Сестра подсовывает ему лист за листом; он торопится — пишет, пишет, пи-

шет; уже совсем неразборчиво, странно сокращая слова. Он словно бы весь превратился в мысль и чувство, которые спешит оставить в слове.

Тело напоминает ему о себе только вместе с приступами боли. Он продолжает работать, торопится еще больше. Боль выплескивается на бумагу: «Ой, скорее, скорее! Худо, худо!» И тут же работник преодолевает боль: «Так, пожалуй, не успею и половину петербургской жизни описать...»

Он пишет, пока толстый карандаш не выпадает из уставших, ослабевших пальцев.

...Пирогова поднимают с кресла, натягивают на него толстую вязаную фуфайку, надевают шубу, подбитую мехом, нахлобучивают ему на голову зимнюю шапку с ушами и, как маленькому, завязывают на подбородке. Его берут под мышки, выводят, почти выносят на крыльцо. Сажают в тележку, везут на вечернюю прогулку.

Под легкими колесами похрустывает схвативший землю ледок.

Пирогов жадно вдыхает свежий воздух с привкусом морозца, на душе у него становится легко и радостно, точно все, что осталось позади, еще будет впереди.

Он тихо посмеивается сам с собой и начинает на свой лад перекладывать Пушкина.

Дар напрасный, дар случайный.

Жизнь, зачем ты мне дана? —

Беззвучно шепчет он строки поэта и, поникнув головой, на мгновение задумывается.

Сначала у него получается:

Не случайный, не напрасный,

Дар чудесный и прекрасный,

С тайной целью дан ты мне!

Свежий морозный воздух бодрит.

Пирогов скидывает голову, шуруется, напряженно глядя в даль, и вдруг видит все вокруг ярко и ясно.

В лунных лучах снег сверкает — серебристый, голубой, зеленый, фиолетовый.

Он слышит дальний могучий гул, будто где-то образуются новые горы, шумно бредут людские толпы, сталкиваются и вновь плывут прочь друг от друга миры.

И вдруг стихи выговариваются по-новому:

Не случайный, не напрасный,
Дар таинственный, прекрасный,
Жизнь, ты с целью мне дана!

Он громко смеется, повторяет:

— Жизнь, ты с целью мне дана!

Морозный воздух вместе будоражит его и усыпляет.

Он дышит тихо и ровно.

Высоко в небе, прямо над головою, ярко горит звезда.

СОДЕРЖАНИЕ

«КАКОЙ-ТО ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС ПОДСКАЗАЛ ТУТ ХИРУРГИЮ»	5
«ВОТ ЧТО Я ДЕЛАЛ, ЧТО ДУМАЛ, ЧЕМ БЫЛ!» . .	64
«МЫ ЖИВЕМ НА ЗЕМЛЕ НЕ ДЛЯ СЕБЯ ТОЛЬКО» .	130

ИБ № 2775

Порудоминский Владимир Ильич
«ЖИЗНЬ, ТЫ С ЦЕЛЬЮ МНЕ ДАНА!»

Редактор **Людмила Лузянина**
Художник **Борис Монин**
Художественный редактор **Анна Романова**
Технический редактор **Наталья Носова**
Корректоры: **Галина Трибунская, Анаида Долидзе**

Сдано в набор 07.04.81. Подписано в печать 06.07.81. А00799.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура
«Обыкновенная, новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 9,1.
Учетно-изд. л. 9,4. Тираж 100 000 экз. Цена 40 коп. Заказ 524.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типо-
графии: 103030, Москва, К-30, Сушевская, 21.

40 коп.



ВЫПУСК 71

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ